

А 521 кр.

2 АЛТАЙ

1971



Электронная библиотека АКУНЬ elb.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

ЛИТ
И О
Е К
А Л
П И С
Г о д



Р
С
З
К
Н
Д

А521 кр

АЛТАЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Год издания XXIV

№ 2 (57) 1971



СЪЕЗД ОТМЕЧАЕТ ВОЗРАСТАЮЩУЮ РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА В СОЗДАНИИ ДУХОВНОГО БОГАТСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. СОВЕТСКИЙ НАРОД ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОЗДАНИИ ТАКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В КОТОРЫХ БЫ ПРАВДИВО ОТОБРАЖАЛАСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, С БОЛЬШОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИЛОЙ УТВЕРЖДАЛИСЬ ИДЕИ КОММУНИЗМА.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ XXIV СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

П. Бородин, Н. Дворцов, В. Дуонов, И. Казинцев,
Л. Квин (редактор), В. Софронов, В. Сидоров, М. Юдалевич

Оформление художника В. Еврасова.

На обложке (в центре): делегат XXIV съезда КПСС Тужулкин Бабый Таныевич, чабан Тензгинского совхоза Горно-Алтайской автономной области. Фото Е. Логвинова.

На вклейке: иллюстрации художника В. Раменского к роману Б. Горбатова «Алексей Гайдаш», к «Букварю» на алтайском языке, к книгам И. Кудинова «На земле» и К. Козлова «Чейнеш и Карабаш».



Адрес редакции: Барнаул, 43, проспект Ленина, 8,
Алтайская краевая писательская организация.
Рукописи объемом менее печатного листа
не возвращаются.

РЕЧЬ ТОВАРИЩА А. В. ГЕОРГИЕВА, ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ АЛТАЙСКОГО КРАЙКОМА КПСС, НА XXIV СЪЕЗДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Товарищи! Все мы с огромным вниманием и интересом выслушали Отчетный доклад Центрального Комитета партии, с которым выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Большой масштабности, яркий, основанный на глубоком знании жизни и всестороннем анализе внутреннего и международного положения нашей страны, он войдет в историю как образец творческого марксизма-ленинизма.

Слушая Отчетный доклад, все мы были преисполнены чувством глубокого удовлетворения и гордости за свой ленинский Центральный Комитет. (Аплодисменты). Его мудрость и дальновидность, многогранная деятельность, ленинский стиль в работе явились решающим фактором тех коренных преобразований, которые произошли за отчетный период. Они являются результатом подлинно научного подхода нашей партии к назревшим проблемам экономики и политики, горячей веры Центрального Комитета в творческие силы народа, его смелости и решительности, революционного оптимизма и неиссякаемой энергии. (Аплодисменты).

Отрадно отметить, что эта политическая линия, правильный стиль и методы, утвердившиеся в деятельности Центрального Комитета, его Политбюро, являются результатом неуклонного следования курсу XXIII съезда, октябрьского (1964 года) Пленума ЦК КПСС.

В сознании советского народа наши замечательные достижения связываются, прежде всего, с решениями октябрьского Пленума ЦК, предопределившего ту деловую, спокойную и творческую обстановку в партии и стране, которую высоко оценил XXIII съезд и так же высоко

оцениваем мы сегодня, гордимся и дорожим этим как величайшим завоеванием нашей партии. (*Аплодисменты*).

Я думаю, что выражу мнение всех делегатов съезда, об этом говорят и наши друзья — представители коммунистических партий, что Отчетный доклад и Директивы партии на новую пятилетку, весь ход нашего съезда являются историческими, важными вехами в строительстве коммунизма, в мировом коммунистическом движении, в борьбе за мир, демократию и социализм.

Коммунисты Алтая, как и весь советский народ, решительно поддерживают принципиальную линию ЦК КПСС в отношениях с Китайской Народной Республикой. Попытки китайского руководства с помощью лжи, клеветы и дезинформации бросить тень на ленинскую политику Коммунистической партии Советского Союза, посеять у китайского народа чувство враждебности к советскому народу — подлинному другу Китая — вызывают у всех советских людей протест и возмущение. Всякие попытки Пекина вмешиваться во внутренние дела нашей страны обречены на провал. (*Аплодисменты*).

Делегация Алтая, выражая волю 148 тыс. коммунистов, горячо одобряет политическую линию и практическую деятельность Центрального Комитета партии. (*Аплодисменты*).

Оглядывая пройденный путь после XXIII съезда, трудно переоценить все, что сделала наша партия для советского человека. Он стал духовно богаче, лучше жить, питаться и одеваться.

Слушая и читая Отчетный доклад съезду, каждый труженик города и села видит, что взятый курс на существенное повышение благосостояния народа будет определять деятельность партии не только в предстоящие пять лет, но и общую ориентацию хозяйственного развития страны на длительную перспективу.

Крупные социальные меры, разработанные Политбюро ЦК, находят живой отклик в сердце каждого советского человека. Он горячо одобряет их и знает, что для этого надо усилить напряжение в труде и этим ответить на новую заботу партии.

Крупные социальные меры — достойный ответ буржуазным клеветникам и фальсификаторам, которые из кожи лезут вон, чтобы изобразить коммунистические идеалы далекими от проблем человека, прав и достоинств его личности. Только заклятые классовые враги, ослепленные злобной ненавистью к коммунизму, к нашей партии, не могут разделять того здорового оптимизма, который присущ советскому народу, с каким мы смотрим в будущее, оцениваем пройденные этапы своей нелегкой, но величественной созидательной работы.

Все это окрыляет и умножает наши силы, вселяет уверенность в правильности избранного партией пути, вызывает горячее стремление у каждого коммуниста, советского человека, наших кадров трудиться

с удвоенной энергией, отдавать все свои силы и знания строительству коммунизма.

Оценивая деятельность Центрального Комитета партии, осмысливая первопричины громадного роста авторитета нашей партии, мы отчетливо видим, что они заключены и в том, что Центральный Комитет в отчетный период последовательно и целеустремленно, как никогда, уделял первостепенное внимание укреплению самой партии, улучшению ее социального состава, повышению роли и боеспособности всех ее звеньев.

В эти годы, полные напряженного творческого труда ленинского Центрального Комитета, Политбюро, секретарей и всего аппарата ЦК, республиканских, краевых и областных партийных органов, городских и районных комитетов партии, первичных партийных организаций, шел жизнеутверждающий процесс обновления и развития форм и методов партийной работы, поиск путей повышения ее эффективности, умения еще больше сблизиться с массами, завоевать безграничное уважение и доверие трудящихся.

Следуя заветам великого Ленина, партия за отчетный период укреплялась организационно, неуклонно проводила курс на дальнейшее развитие внутрипартийной демократии, соблюдение ленинских норм партийной жизни, повышение активности коммунистов.

Важным фактором стал более тщательный отбор людей в партию, прежде всего передовых представителей нашего героического рабочего класса. За последние пять лет партийные организации нашего края приняли в свои ряды 22 тыс. рабочих и колхозников, что составляет около 70 проц. от общего количества вступивших в КПСС.

Это позволило укрепить партийное ядро в производственных коллективах. Резко возросло число партийных групп и цеховых организаций. Сейчас 77 процентов коммунистов краевой партийной организации работает непосредственно в сфере материального производства. Подавляющее большинство из них — передовики и новаторы, запевалы больших патриотических начинаний.

Вот один яркий пример. На заводе транспортного машиностроения работает потомственный рабочий — слесарь Григорий Иосифович Яровой. Вся его жизнь является образцом беззаветного служения делу рабочего класса, Коммунистической партии, в рядах которой он состоит с 1939 года. Все эти годы товарищ Яровой — бессменный руководитель партийной группы на производственном участке. За этот период он рекомендовал в партию 32 рабочих, и все они достойные коммунисты. Григорий Иосифович обучил 60 молодых рабочих своей профессии, и это не просто обучение, это воспитание рабочей косточки, связанной с героическим революционным прошлым и настоящим. Это благодарнейшая и благороднейшая работа по воспитанию молодежи в труде.

Вот он какой, наш передовой советский рабочий! (*Аплодисменты*).
А таких в стране миллионы! Партия воспитала в них лучшие качества строителя коммунизма. С честью и достоинством, высоким сознанием ответственности рабочий класс творит будничные дела, является носителем боевого духа нашей партии в трудовых коллективах.

Мне хочется зачитать взволнованные строки письма о нашей партии, с которым обратилась недавно к молодежи Нина Михайловна Столярова — работница моторного завода, секретарь цеховой партийной организации.

Она писала:

«Сын, ты часто по утрам, едва встав, просишь меня: «Давай споем!» Тебе нравится могучая, требовательная мелодия «Интернационала».

А это не песня, сын.

А если и поют ее, то лишь стоя или в бою.

Поют ее жизнью и сердцем. Поют люди, сделавшие обыденностью вчерашние мечты, подвиг — коллективным служением общему делу, сказку — былью.

Но они, эти люди, не сделали обыденностью ни одного слова из своего партийного гимна. Он звучит сегодня с прежней страстностью, зовет к новым подвигам. Эти люди — коммунисты.

Расти коммунистом, сын!» (*Аплодисменты*).

Автор этих строк, раскрывающих богатый духовный мир рабочей коммунистки, — делегат нашего съезда! Таким людям, лучшим представителям рабочего класса, как об этом очень тепло сказал Леонид Ильич Брежнев, должно и впредь принадлежать первое место в нашей партии. Это право дала им сама история. (*Аплодисменты*).

Сейчас в составе выборных партийных, советских и общественных организаций края каждый третий представляет рабочий класс. В паргкомах и партбюро первичных и цеховых организаций около 40 процентов рабочих. Каждая четвертая организация в промышленности, строительстве и на транспорте возглавляется рабочим.

Многое изменилось к лучшему в низовых коллективах коммунистов. Я не ошибусь, если скажу, что благодаря огромной работе ЦК, Политбюро в партии с большой силой зазвучала первичная организация, она поднялась на новую качественную ступень, и это принесло замечательные плоды.

Мы видим, как преломляются в повседневной деятельности низовых звеньев решения партии, насколько обогатилась их внутренняя жизнь, выросла ответственность за положение дел в производственных коллективах, за выполнение государственных планов и заданий.

Жить и действовать по Уставу — непреложный закон каждого коммуниста. Только за последние два года каждый пятый член краевой

партийной организации отчитался перед своими товарищами по партии, как он выполняет требования партийного Устава.

Не вызывает сомнения, что предложения в Отчетном докладе, сделанные о некоторых изменениях в Уставе партии, а также об обмене партийных билетов послужат дальнейшему развитию инициативы и активности первичных организаций, укреплению партии и дисциплины каждого коммуниста. Эти предложения полностью совпадают с мыслями, высказанными на отчетно-выборных собраниях и на партийных конференциях, что является свидетельством внимательного отношения Центрального Комитета к мнению коммунистов.

Товарищи! В Отчетном докладе ЦК уделено большое внимание работе с кадрами. На собственном жизненном опыте мы убедились, какую поистине решающую роль выполняют кадры. Поручкой их плодотворной работы служит деловая обстановка, которую создал Центральный Комитет партии. Проявляя полное доверие и внимание к кадрам, ЦК, его Политбюро предъявляют к ним высокую требовательность. Такое поистине ленинское отношение к кадрам по достоинству оценено нашей партией, взято на вооружение во всех ее звеньях.

Хочется сказать добрые и теплые слова в адрес Верховного Совета СССР, депутатов Советов сверху донизу, представляющих органы народной власти. Участвуя в работе сессий и комиссий Верховного Совета, мы воочию видим, как на деле выполняются указания партии о повышении роли Советов, какую разностороннюю и большую работу проводит Верховный Совет СССР. *(Аплодисменты)*.

Мы горячо поддерживаем предложение Политбюро ЦК о разработке специального закона, определяющего полномочия и права депутатов, что еще больше активизирует их работу и поднимет авторитет среди народа.

Хотелось бы подчеркнуть огромную значимость декабрьского (1969 г.), июльского (1970 г.) Пленумов ЦК. Можно с полным правом сказать, что идеи и решения этих пленумов являются выдающимся вкладом в ленинскую организационную науку, в теорию и практику руководства экономической жизнью страны.

Анализ положения дел в партийной организации с позиций декабрьского Пленума помог нам выявить слабые стороны в партийном, государственном и хозяйственном руководстве. Краевой комитет стремится к тому, чтобы полнее учитывать требования партии в работе с кадрами, в организации контроля и проверки исполнения.

Опираясь на постоянную заботу и практическую помощь Центрального Комитета, наш край справился с заданиями восьмой пятилетки.

Пятилетний план по промышленности выполнен досрочно. Объем производства увеличился почти в полтора раза. Промышленность края сегодня представляет собой высокоразвитое производство, продукция

которого поставляется во все экономические районы, во многие страны мира.

Заметны также итоги работы тружеников сельского хозяйства. В завершающем году пятилетки Алтай дал государству 3,2 млн. тонн хлеба. За пятилетие урожайность зерновых культур увеличилась на 3,5 центнера с гектара, а среднегодовой объем закупок хлеба возрос на 43 процента. Досрочно выполнены задания пятилетки по производству и продаже продуктов животноводства. Средний вес крупного рогатого скота, сданного государству, увеличился за пятилетку почти на 100 кг и составил в 1970 году 367 килограммов.

Приятно доложить также, что трудящиеся края с честью выполнили взятые на себя обязательства по достойной встрече XXIV съезда КПСС.

Партия и правительство высоко оценили наш скромный вклад. Трудящиеся Алтая глубоко благодарны Центральному Комитету и Советскому правительству за высокую награду — орден Ленина, которого второй раз удостоен наш край. (*Продолжительные аплодисменты*).

Эта награда воодушевила тружеников города и села, вызвала стремление работать лучше, шире использовать резервы производства, решительно устранять имеющиеся недостатки.

Краевая партийная организация критически оценивает достигнутое, отчетливо видит неиспользованные резервы: разный уровень работы на полях и животноводческих фермах, большую пестроту в урожаях и продуктивности животных. Опыт передовиков и достижения науки, технический прогресс еще не стали достоянием всех хозяйств. Взятые в прошедшей пятилетке темпы не могут нас удовлетворить.

В Отчетном докладе перед сельским хозяйством страны поставлены новые большие задачи. Они требуют повышенных скоростей в работе, большой требовательности и ответственности кадров. Достаточно, например, сказать, что край обязан к концу пятилетки увеличить продажу мяса государству против 1970 года на 53 процента, или довести ее до 350 тыс. тонн, а по отдельным хозяйствам темпы производства практически надо удвоить.

Реальна ли такая задача? Бесспорно, реальна! Реальность ее подкреплена всей работой нашей партии на селе за отчетный период, заложена в крупных мерах, в программе действий, определенных мартовским, июльским Пленумами ЦК КПСС, в Директивах нашего съезда.

Нельзя не порадоваться тому, с какой настойчивостью и последовательностью Политбюро ЦК, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев занимаются сельским хозяйством. Мы не можем назвать ни одного жизненно важного вопроса, поставленного на мес-

тах, к которому не прислушивались бы в Центральном Комитете партии и не поддержали его.

Товарищи! Говорить об Алтае — значит говорить о зерне. Гордостью края всегда было зерно сильных и твердых яровых пшениц. Оно является не только сильным по высокому содержанию клейковины. Зерно, выращенное в степях Сибири, идет как улучшатель качества муки во многие области страны и в ряд государств.

За пятилетку такого зерна край продал государству в 10 раз больше, чем было заготовлено в предыдущую. Только степные районы края могут ежегодно поставлять государству зерна с высокой клейковиной: не менее полутора миллионов тонн. В этом у государства острая необходимость.

Мы принимаем меры к увеличению производства ценных сортов пшеницы. Но для полного решения такой задачи нужны более четкие и ускоренные действия со стороны правительства Российской Федерации, Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, Министерств заготовок и сельского хозяйства. Прежде всего наука должна дать земледельцам Сибири новые хорошие сорта яровых пшениц. Нужно определить зоны выращивания сильных и твердых пшениц, быстрее превратить их в районы сплошной химизации, установить в планах хозяйств продажу государству твердых и сильных пшениц, разработать более эффективные меры поощрения за их выращивание.

Качество и рост сборов зерна формирует и своевременная уборка. Для нас, сибиряков, это большой вопрос. Природа очень скупа здесь на осеннее солнце и отводит на уборку лишь несколько погожих дней. Эти вопросы правильно было бы рассмотреть отдельно в центральных органах, особенно в правительстве Российской Федерации, и определить дополнительные меры, чтобы быстрее убирать хлеб Сибири. Это огромный резерв роста урожая.

Увеличение производства зерна в крае и развитие животноводства тесно связаны с дальнейшей судьбой степного земледелия. Принятые меры по борьбе с ветровой эрозией дали ощутимые результаты. ЦК КПСС, правительство поддержали наши предложения по обводнению Кулунды, по вопросам, связанным с улучшением жизни людей в сухой степи, особенно в мелких поселках.

Кулунда — это крупный зерновой и животноводческий район. Только на Алтае она занимает площадь в 2 млн. 500 тыс. гектаров. Рядом с нами еще Кулунда Новосибирская и Павлодарская степь. Кулунда должна внести еще больший вклад в производство продуктов сельского хозяйства. Мы просили бы эту проблему записать в Директивы съезда.

Товарищи! Есть такие емкие слова, которые идут сегодня к Дворцу

съездов из глубины миллионов народных сердец. Вместе со всеми их произносят и сибиряки — мужественные и закаленные люди: «Спасибо тебе, родная партия!» (*Аплодисменты*).

Краевая партийная организация пришла к XXIV съезду, как никогда, единой и монолитной, сплоченной вокруг великого знамени марксизма-ленинизма, ленинского Центрального Комитета.

Позвольте заверить, что коммунисты, трудящиеся Алтая отдадут все свои силы, опыт и знания борьбе за претворение в жизнь исторических решений XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза. (*Продолжительные аплодисменты*).

Электронная библиотека АКУНБ, eib.kunib.ru

Аржан АДАРОВ

В МУЗЕЕ ЛЕНИНА

Здесь, вспоминая годы огневые,
Спокойно, тихо люди говорят.
Здесь вещи все, свидетели живые,
Стоят, как много лет тому назад.
Мне кажется, что Ленин только вышел...
Вот-вот войдет он.. Встреча впереди..
И я стою в волнении.. Я слышу,
Как сердце бьется радостно в груди.
Оно гудит набатно и тревожно,
Ему покоя нет,

покоя нет...

Вхожу, уняв волнение, осторожно
В простой, уютный, тихий кабинет.
Вот стол.

Он здесь сидел, мечтал, работал
И отдыхал, устав от трудных дел.
И — пули на столе...

Крадется кто-то...

И вдруг, я слышу, выстрел прогремел.
Но в тот же миг неуловимый, быстрый
Под пулю, что грозна и горяча,
Я рвусь вперед, стремительный, как выстрел,
И защищаю грудью Ильича.
И, падая, сраженный, на дорогу,
С которой не подняться никогда,
Я спрашиваю с болью и трезвой:
— Здоров Ильич? —

Мне отвечают:

— Да... —

И умираю я, счастливый самый...
«Что с вами?» — слышу, задают вопрос.
А я в лицо экскурсовода прямо
Смотрю и не стесняюсь своих слез.

В сраженьях восемнадцатого года
Враг понимал, прищуривая глаз,
Что метил в сердце целого народа...
О, если б я его от пули спас!
Он больше жил бы, Ленин, больше сделал.
Но кто сказал, что нет его? Он жив.
Мы с именем его штурмуем смело
Грядущего крутые рубежи.
С ним строят жизнь,
С врагами насмерть бьются,
Идут по тропам узким и крутым,
И с ним грохочут грозы революций,
И счастье в каждый дом приходит с ним.
Мы с ним живем, и боремся, и дышим,
Мы с ним идем в счастливые года...
Они, как солнце, с каждым годом выше.
А солнце не угаснет никогда.

КОММУНАРЫ

Здесь коммунары спят, не видя снов,
сном непробудным, непритворным, вечным.
Над ними — пряный аромат цветов
и алый свет звезды пятиконечной.

Там Чулышман-река шумит. Над ней
нависли горы молчаливым строем.
И шепчет старая сосна сосне:
«Здесь пали безымянные герои...»

Оделся тополь в праздничный убор,
гуляет ветер в тростниках низовой,
вздыхают пихты, наклонившись с гор:
«Они погибли ради жизни новой...»

На солнце окна школьные горят.
И яблони стоят в весеннем платье.
И горы вторят голосам ребят:
«Герои умерли за наше счастье...»

..Кайру*, ты помнишь ночь, когда враги
ползли в долину сонную украдкой?
...О, как тихи бандитские шаги,
и как штыки сверкали перед схваткой!..

Герои пали. Только мысли их
в горах остались, засверкали новью.
На месте павших — тысячи живых,
дела отцов живут в делах сыновних.

Их имена не вписаны в гранит —
в людских сердцах им вечная прописка.
И — нет! — не мрамор славу их хранит,
а строгих гор крутые обелиски...

Перевод с алтайского Л. Чикина.

* Кайру — правый приток реки Чулышман.

РАЗВЕДЧИКИ

ЛЕТЧИЦА

В нашей палате разговоры о ней велись изо дня в день. Да, видимо, не только в нашей. Во всем госпитале из множества «ранбольных», как называл нас обслуживающий персонал, она была единственной женщиной. Никто не видел ее в глаза, но все утверждали, что красоты она неопикуемой. И одновременно добавляли смачно, что она ППЖ («полевая походная жена») какого-то командира авиаполка и вовсе не «ранбольная», а в госпиталь попала «по женскому делу». Мужчины нашей палаты при этом понимающе переглядывались. Я же хлопал глазами — никак не мог по молодости и неопытности уловить тайный смысл этих слов. Чувствовал только, что таят они что-то не слишком лестное.

Палата наша наполовину была лежачей. Другая же половина, позавтракав, разбредалась до обеда по огромному корпусу госпиталя, а пообедав, снова исчезала — кто в красный уголок поиграть в бильярд, в шашки, забить «козла», кто в библиотеку, а кто и просто поточить лясы в другую палату или в вестибюль. Нас же, лежачих, окончательно догрызала скука. Тот, у кого уже позади остались стоны, охи и ахи, лежал в полудреме или самым беззастенчивым образом спал — набирался за прошлый недосып и в запас на будущее. Тот, кто уже ото-спался, бездумно глазел в потолок. Все уже было передумано, переговорено, и лишь вечерами снова и снова принимались судачить о ней, о летчице.

Солдаты — народ, не особенно утонченный в лингвистике, поэтому по принципу образования слов «директорша», «председательша», то есть жена директора, жена председателя, недолго думая, окрестили и ее летчицей — жена летчика.

Потом кто-то узнал «из достоверных источников», что вовсе она

не ГПЖ, а самая что ни на есть законная жена авиационного генерала и что у нее перебита нога при бомбежке штаба авиасоединения, при котором она жила с мужем. И что будто ей давно за пятьдесят — старуха старухой.

Это, последнее, разочаровало всех. Никто не хотел верить такому «достоверному источнику». И вскоре с общего согласия все решили, что это сплетня, что наша летчица молодая и, конечно, красивая.

Ее палата была напротив нашей, через коридор. И Жора Курдюмов, разбитной парень, «сердцеед-профессионал», как он сам себя называл, поначалу днями вертелся около ее дверей, дожидаясь, когда сестра понесет летчице обед или что-нибудь еще, чтобы вроде нечаянно, мимоходом заглянуть в палату. Наконец такого случая дождался. Но у палаты оказалась просторная прихожая со второй дверью. Жора вернулся с кислой физиономией, плюхнулся на кровать и запрокинул руки за голову.

Старший сержант, загипсованный по самую грудную клетку, не без иронии спросил:

— Ты чего, Жора?

Все следили за тем, как Жора крутился около этой палаты, словно кот вокруг сала. Не знаю, как другие, но я втайне желал, чтобы «сердцеед-профессионал» потерпел неудачу. Не то, чтобы я ревновал его к летчице или завидовал ему, — просто считал, что она достойна лучшего, чем Жора. Мне так казалось. И, наверное, не только мне.

Но вот однажды Жора появился оживленным. Глаза у него были широко открыты и шальные. Он сел на кровать, но тут же вскочил снова. Мы смотрели на него с любопытством. Никто ничего не спрашивал. Он не вытерпел первым.

— А я все-таки ее видел! — произнес с расстановкой, многозначительно и обвел нас торжествующим взглядом. — Я был у нее в палате! — Тут он с большим трудом надел на свою сияющую физиономию маску равнодушия, направился к двери. — Пойду искать ей «Графа Монте-Кристо». Очень просила...

И он вышел. Мы переглянулись: врет, поди, балбес?

Жора из той категории людей, которые любят всегда быть на виду, всегда красоваться, но с которыми никто никогда не водит дружбу, не затевает серьезных, откровенных разговоров, — нет в нем той душевной предрасположенности к человеку, так необходимой для близости. Жора прямолинеен в мышлении, самоуверен, нагловат. И вообще, он не Жора, а Иван. Иван Курдюмов — так значится по документам. Но ему не нравится это имя, и он с первого же дня заявил всем, что он Жора. Так его называют и сестры и врачи на обходе. Его все знают, он всегда на виду у всего госпиталя.

В красном уголке обслуживающий персонал и кое-кто из раненых

давали иногда самодеятельные концерты. Жора затесался туда в конферансье. Вел концерт бойко, подражая плохим традициям провинциальной эстрады, рассказывал ветхозаветные анекдоты, поминутно раскланиваясь. Невзыскательная окопная публика посмеивалась, причем не столько над его островами, сколько над развязной манерой держаться.

Жора напропалую ухаживал за сестрами. При этом считал верхом удали заводить любовь одновременно с несколькими девушками.

Старик-сапер, непрестанно нянчивший свою культу, всякий раз качал головой:

— Вот, шельмец, дает так дает!

И непонятно было, восхищается он Жорой или осуждает его.

В тот день Жора снова появился в палате перед самым ужином. Принес с собой растрепанную, как мочалка, книгу, бережно положил на тумбочку и опять торжествуяще обвел нас чуть блудливыми глазами. Он молчал. Молчали и мы. Шла невидимая борьба: нам хотелось все-таки достоверно знать, кто она, эта летчица, такая ли, какой создало ее наше коллективное воображение, а его подмывало похвастать своей новой победой. Не вытерпел опять-таки он.

— Был у нее в палате, — сказал он.

— Слышали уже, — буркнул старший сержант. — Только не заливай ей, что ты разведчик.

Жора покраснел, но глаз не опустил. Неделью назад старший сержант уличил Жору в самозванстве. Жора все время выдавал себя за разведчика, к месту и не к месту хвастал: «Мы, разведчики...», «У нас, у разведчиков...». Старший сержант в минуты, когда у него ослабевала боль, как-то особенно пристально присматривался к Жоре. А однажды, изловчившись, вытянул из-под подушки конец чего-то пестро-зеленого и подозвал его.

— Ты, разведчик, подойди-ка сюда... Что это такое?

Жора покосился на изголовье старшего сержанта, пренебрежительно бросил:

— Сарафан бабий!.. Ну и что?

— Так я и думал! — старший сержант вприщур смотрел на Жору. — А кто такой пээнша-два?

Жора, пытаясь как-то выпутаться, скривил губы:

— Брось, старшой, не напускай туману! Говори сразу: что ты хочешь?

Но в эту минуту старший сержант откинул голову на подушку, задрал квадратный подбородок, на лбу у него выступили крупные бусинки пота — видимо, опять начался приступ боли. Все-таки он произнес сквозь стиснутые зубы:

— Никакой ты не разведчик... Трепло ты!..

С тех пор старший сержант из своего угла настороженно прислушивался к болтовне Жоры, словно стоял на страже чести разведчиков, иногда снисходительно разговаривал с ним, полуиронически, но никогда серьезно, как с равным. Так было и на этот раз, когда Жора бережно положил на тумбочку «Графа Монте-Кристо».

— О разведчиках можешь не беспокоиться, старший сержант, я ей не заливал, — сказал Жора. Повернулся к нам. — Но бабеч, братцы, доложу вам! — Он чмокнул и поднес к губам собранные в щепотку пальцы. — Таких я еще не встречал в своей практике!

Старший сержант отвернулся к окну, тихо бросил:

— Циник же ты!

— Может быть, старшой, все может быть. Но ведь война! — покровительственным тоном умудренного человека произнес Жора. — Война! Может, у меня это последняя возможность душу отвести. Ты вот отвоевался. Рано или поздно домой поедешь. А меня скоро выпишут на фронт. А там, кто знает, возьмут да и убьют...

Не унывающий, несмотря на постоянную боль в культе, старик-сапер с нетерпением ждал конца перепалки. И едва наметилась пауза, он тут как тут со своим на редкость ненасытным любопытством:

— Как это ты, Жора, проник туда, к ней в палату? Сколько ден крутился и все-таки проник.

— Солдатская находчивость, дед. — Жора начинал входить в свою роль, садился на любимого конька. Глаза у него затягивались дымчатой поволокой. — Лиза катила к ней перевязочный столик. А он через порог никак не переезжал. Ну, я тут как тут, подхватил, помог вкатить в палату... Ну, братцы, видел я красавиц, многие на шею кидались. Но такой не встречал. Сногшибательная блондинка!..

Он метался по узкому проходу между кроватями в мягких тапочках, как барс с подобранными когтями — такой же мускулистый, гибкий и такой же алчный.

— Зашел и обомлел. В глазах потемнело. Лежит на кровати этокое создание в голубом цветастом халате...

— А может, в сарафане? — насмешливо вставил старший сержант. — В таком вот, как у меня под подушкой.

Жора осекся, с минуту смотрел, не мигая, на испортившего ему весь триумф старшего сержанта, потом, как-то сразу притушив пыл, занялся ужином — пищу в нашем госпитале разносили всем по палатам, для ходячих не было общей столовой. После ужина покрутился молча еще несколько минут по палате и, наконец, сгреб книжку и вышел. Сапер покачал ему вслед головой.

— Ну, шельмец! Не парень, а ухо с глазом... Я так скажу, мужики: такие настырные, они бабам нравятся больше. Они к ним так и льнут, бабы-то!



Голос подал из противоположного угла артиллерист из новичков, но уже успевший отоспаться.

— Что верно, то верно: ни одна баба не устоит против стремительного натиска.

Старший сержант откашлялся, словно потребовал внимания к себе.

— А мне кажется, друзья, что женщина прежде всего любит в мужчине силу. Внутреннюю силу и... и ум.

Завязался спор.

Один только я не знал, что любит и чего не любит женщина, поэтому лежал молча и развесив уши слушал людей «бызгалых». А каждому уж больно хотелось хоть казаться опытным и сведущим в делах любви. Друг друга почти не слушали — пока сосед говорил, каждый торопливо ворошил свое прошлое. Найдет самое интимное, спрятанное в дальнем-дальнем углу памяти — и пошла блуждать затаенная улыбка.

Незадолго до отбоя старший сержант, никогда не забывавший подытоживать разговор, на этот раз весело резюмировал:

— Итак, будем считать, что теоретическая часть темы «Любовь и ее влияние на заживление ран в восьмой гвардейской палате» прошла на большой высоте. Что касается обсуждения итогов практической ее части, то ввиду отсутствия докладчика оно переносится на завтра. Вопросы есть?

Вопросов не было. Зато у каждого было хорошее настроение — потому что каждый побывал за этот вечер в своем светлом и радостном прошлом. И теперь неохотно возвращался из него. Спать укладывались не спеша, словно готовясь к длительной обязательной работе.

А Жора не появлялся. Я пытался представить, о чем можно разговаривать целый вечер с незнакомой женщиной, и не мог. Я всегда очень завидовал людям общительным, а теперь вот особенно. Это ж надо, думал я, такой талант — и достался шалопаю...

Сразу же после отбоя тихо скрипнула дверь, Жора прошмыгнул в темную палату. Беззаботно посапывая (я даже представил себе его самодовольную физиономию), он разбирал постель.

Всю ночь Жора спал сном праведника — это было слышно по его безмятежно ровному дыханию. Палата же окончательно замирала лишь к утру — прекращались охи, вздохи и скрипы пружинных сеток. На два—три предрассветных часа замирал госпиталь — засыпали все, даже самые тяжелые раненые.

Жора, как всегда, проспал до завтрака. После завтрака перевязочная сестра Лиза обычно заходит и объявляет, кому в этот день назначена перевязка. У нас она непременно задерживается дольше — у нас Жора... Сегодня же в дверях появилась не Лиза, улыбающаяся и приветливая, а злое-презлое существо с плотно сомкнутыми губами. Выдержав паузу, сестра громко объявила:

— Иван Курдюмов! На перевязку! — И уничтожающе стрельнула в Жору черной молнией из-под разлетистой брови.

Жора дурашливо втянул голову в плечи, словно ожидая удара, заканючил:

— За что такая немилость? Сразу уж и на перевязку...

Но Лиза не приняла его привычный шутовской тон, хлопнула дверью и ушла. Жора смущенно, но в то же время с нескрываемым торжествующим блеском в глазах, полез пятерней в загривок.

— Видали! Уже сразу все известно: где, чего и до скольких... Сейчас будет «перевязочка» та еще — только успевай поворачиваться...

Два или три дня Жора ходил очумелый, сияющий. В палату являлся только после отбоя — через минуту—две. Ясно было, что перебегал коридор из дверей в двери.

На четвертый день старший сержант — разведчик — как-то вроде бы между прочим, но с заметным облегчением и даже обрадованно заметил:

— Сорвалось! Видать, не на ту нарвался...

Я не совсем его понял: ведь Жора по-прежнему исчезал на весь вечер и в палату возвращался после отбоя. Правда, с лица его сошло выражение самодовольного торжества. Но он, как и раньше, спал до завтрака, как и раньше, уходя после ужина, многозначительно окидывал взглядом палату и особенно правый дальний ее угол, где лежал в гипсовом панцире разведчик. Глаза у старшего сержанта были насмешливые: он видел гораздо больше нас всех, вместе взятых.

Так длилось, наверное, недели две.

Тот день — день, когда я увидел ее, когда увидел летчицу, — я конечно, запомнил надолго.

Случилось это после полдника. Вся палата ушла на какой-то концерт — почти все наши лежачие, за исключением старшего сержанта, уже стали не то чтобы шибко ходячими, но, во всяком случае, самодвигающимися. Я только что притащился с перевязки и сидел на койке, переводил дыхание. А старшего сержанта укатали на съемку гипса: главный врач утром сказал, настало время посмотреть, что там под гипсом творится, правильно ли срастается... Дверь в палату была открыта настежь. Краем глаза заметил, что в дверях кто-то появился. Подумал: кто-то из концертников не досидел и волокется домой. Поднял голову: против дверей в коридоре в инвалидской коляске сидела и, глядя на меня, улыбалась молодая женщина.

Почему-то я сразу догадался, что это она, летчица. С бледно-подсиненным лицом, пышными, очень коротко стриженными волосами, она показалась мне в первое мгновенье большой фотокарточкой в еще более подсиненной рамке дверей. Но глаза, подвижные, серые и большие, а может быть, они только казались большими на худеньком ли-

чике, оживляли эту «фотографию». Голубой халатик — за мои полгода армейской жизни, пожалуй, первая истинно женская вещь; нога в гипсе — это уже банально, ибо кругом ломаные ноги; голые по локоть нежные и красивые руки, миниатюрные часики... Я рассматривал летчицу с наивной бесцеремонностью простолюдина, очутившегося в обществе изысканной дамы. И, наверное, рассматривал довольно долго. Но на ней никак не отразилось мое любопытство — должно быть, она уже привыкла. Наконец, я начал догадываться, что мне следовало бы встать и поздороваться с ней. Но при этом у меня все-таки хватило сообразительности представить себя в джентльменской позе и... в кальсонах. И я не встал, не поздоровался, а потянул на колени одеяло.

Летчица опять улыбнулась.

— Это и есть восьмая? — Она сделала паузу и добавила: — Гвардейская?

— Да, — сказал я. — Проходите, пожалуйста, садитесь.

Она засмеялась.

— Я же сижу...

— Ну, все равно, проезжайте сюда. Только Жоры нет, — вырвалось у меня. — Он, наверное, на концерте.

Мне показалось, что какая-то тень прошла по ее лицу, словно тучка проплыла.

— А он меня меньше всего интересуется. — Она вкатила свое кресло через порог.

И снова будто солнце отразилось на ее лице — радостное настроение так и сквозило во всем.

— Как вас звать, юноша? Почему вы такой бледный?

— Да вот, сегодня первый раз пешком сходил на перевязку.

— Ну и как? — улыбнулась она участливо.

— Насилу ноги приволок, — засмеялся я.

— Я тоже сегодня сделала первый выезд в свет...

Глаза у нее серые, с маленькой черной точкой зрачков, и такие веселые, смешливые. И показалось мне, что я давно-давно знаю эти глаза и до самой мелочи понятно мне их выражение. Вот она сказала о своем первом выезде в свет, а по глазам уже видно, что радости у нее от этого теперь на много дней.

— Вы понимаете, бледный юноша, у меня сегодня такой счастливый день! Будто заново мир увидела. А миру-то — всего один коридор. И все равно, понимаете, радостно. Никогда не думала раньше, что так бывает... Вы долго лежали?

— Не-е... Две недели всего.

— Тогда вам трудно понять мое состояние. Я-то почти четыре месяца не поднималась — чуть ли не все лето в четырех стенах. Неба-то

всего только лоскуточек в окно и видела. Единственное, что спасало, — это письма от друзей ну и, конечно, книги. Книг наглоталась! — Она весело сморщила носик и провела пальцем по горлу. — Вы любите читать?

— Очень даже! — вырвалось у меня горячо.

— А что это у вас? — показала она рукой на книгу, которая лежала на тумбочке.

— Пьеса Симонова «Русские люди».

— Интересная? Слышать о ней слышала, а прочитать еще не довелось...

В это время в дверях появился Жора. Но, увидев летчицу, круто повернулся и исчез. Меня это удивило. Но я не успел рта открыть, как следом за Жорой появилась нянечка. Она всплеснула руками.

— Валентина Васильевна! С ног сбилась, ищу вас. Пора на место, голубушка. На первый день достаточно, нельзя же по столько гулять. Давайте поехали домой!

Летчица грустно улыбнулась мне.

— Ну вот... Дадите почитать пьесу?

— Да, да, конечно! — я поспешно подхватил с тумбочки книжку и протянул ей.

— Я быстро прочитаю и верну вам. Впрочем, приходите сами. Сегодня... — Она чуть-чуть задумалась. — Нет, на сегодня, пожалуй, мы с вами уже нагулялись. Приходите завтра. Хорошо?

Я кивнул молча и неопределенно, ибо знал, что не приду. Прийти — значит надо о чем-то разговаривать.

Нянечка покатила летчицу из палаты. В дверях она встретилась со старшим сержантом. Того везли на высокой тележке, прикрытого до самого подбородка белой простыней. Его «телегу» попридержали, пропуская кресло-каталку. Старший сержант скосил глаза, удивился:

— Из нашей палаты выезжает дама? Ну и ну! На полчаса нельзя оставить этих донжуанов без присмотра. То сами шляются где-то до ночи, а теперь уж их стали на дому навещать...

Мне не видно было лица Валентины Васильевны. Но старший сержант вдруг замолчал и нахмурился. Потом его вкатили в палату, долго перекадывали с тележки на кровать, укладывали на кровати, то приподнимая, то опуская загипсованную половину туловища, стараясь найти наиболее удобное положение. Наконец, уложили. Он вытер обильный пот с побледневшего лица, облегченно вздохнул — словно закончил тяжелую и неприятную работу. И сразу же повернул голову ко мне:

— Слушай, а не наговорил ли я лишнего этой летчице? Как она на меня посмотрела!

Старший сержант был необычно взволнован — толи после столь тяжелой перевязки, то ли... Нет, я не думал, чтобы из-за этого нелепого

случая с летчицей он, всегда уравновешенный и уверенный, мог бы так взволноваться.

Мы лежали в палате вдвоем. Молчали. Я вообще больше молчал, он тоже не из разговорчивых. Не меньше часа пролежали. Вдруг он спрашивает:

— Она к тебе приезжала?

— С чего ради ко мне! Просто в палату заглянула.

— Но не к Жорке же! Жорку она на четвертый вечер выперла с треском.

— А вы откуда знаете?

Старший сержант повернул ко мне голову, невесело хмыкнул.

— Станный вы народ, книгочеи! Вроде бы в тонкостях разбираетесь, а вокруг себя ничего не видите. Никакой наблюдательности! Не будет из тебя разведчика.

Мне стало обидно. И я выпалил:

— А я вот после госпиталя непременно пойду в разведку! Это уже решено твердо!

Старший сержант даже приподнял голову, чтобы более внимательно посмотреть на меня.

— Ну-ну... — только и сказал.

Мы молчали до возвращения ребят с концерта. Когда послышался шум в коридоре, старший сержант, словно вдруг решившись, заговорил торопливее обычного, все время поглядывая на дверь:

— Пойдешь к ней, передай мои извинения, что, мол, в основном, он, этот разведчик, хороший парень, а вот тут, дескать, сдуру сморозил черт знает что, наговорил всякой пошлятины. В общем, ты знаешь, что сказать. Понял?

— Нет, не понял.

Старший сержант удивленно повернул голову.

— Как?

— Откуда вы взяли, что я пойду к ней и буду с ней разговаривать?

— По-моему, я слышал, что она кого-то приглашала. А так как в палате ты был один, то, видимо, это касалось тебя...

— Но ведь не на всякое приглашение следует откликаться. Вдруг она просто так, из вежливости?

— Да? — как-то неопределенно спросил он. — Странно! Женщины приглашает его зайти, а он считает, что это из вежливости. Как же тогда она должна тебя приглашать не из вежливости? Взять за руку и вести?

— Не знаю, — буркнул я и отвернулся к стене.

Вечер прошел, как обычно, в мелких разговорах. В основном рассказывали о концерте.

Утром, после обхода врача, все разбрелись по госпиталю. Старший

сержант выжидательно посматривал на меня. Я делал вид, что не замечаю этих взглядов, ходил по палате — пора уже привыкать ходить. После мертвого часа я снова шагал от окна к двери и обратно. Три—четыре раза пройду — сяду на свою кровать, посижу — и снова.

К концу дня старший сержант вдруг спросил:

— Как ты думаешь, сколько ей лет?

— Откуда я знаю...

— Во всяком случае, тебе она не ровесница.

— Да, года на три — на четыре старше, — согласился я.

Перед ужином он несколько настороженно спросил:

— Так ты, в самом деле, не собираешься идти?

— Куда? — будто не понял я.

— Ну, туда, к ней...

— А вам очень хочется, чтобы я сходил? — улыбнулся я. Мне начинало нравиться смущение этого всегда невозмутимого разведчика. Я только не мог понять: неужели он влюбился? Как можно влюбиться в человека, увидев его впервые и вообще не зная о нем ничего?

— Мне очень не хочется, чтобы обо мне думали, как о хаме.

— Тогда позовите нянечку и через нее передайте записку с извинениями.

Старший сержант задумался. Попросил меня достать из его тумбочки школьную тетрадь и роскошную трофейную авторучку. Писал он долго и мучительно, вырывая из тетради лист за листом. Потом подождал меня, тихо сказал:

— Проверь, пожалуйста, ошибки.

Я бегло прочитал исписанный ровным почерком листок.

«Валентина Васильевна!

Пишет вам тот охломон, который вчера наговорил вам кучу пошлостей при встрече наших «экипажей» в дверях восьмой палаты. Я очень извиняюсь перед вами. Не считайте, пожалуйста, меня грубым.

К сему Николай Храмцов.»

— «К сему» я бы выбросил. Старомодно! Вместо него подписал бы: «С уважением такой-то». А так ничего, порядок!

Старший сержант безропотно принял мое замечание, терпеливо переписал (в который уже раз!) послание, позвал няню и попросил ее передать.

На следующий день после врачебного обхода в палату заглянула перевязочная сестра Лиза и сразу же направилась ко мне.

— Как вы себя чувствуете... бледный юноша? — Последние слова принадлежали явно не ей, у летчицы позаимствовала.

— Ничего.

— Валентина Васильевна просила прийти к ней. Если, конечно, вы можете ходить.

— Может, может! — вмешался старший сержант. — Вчера целый день тренировался.

Я надел халат жидко-грязного цвета, до предела вышорканный предыдущими поколениями «ранбольных», — администрация госпиталя, конечно, не рассчитывала, что в таких халатах будут ходить на свидание! — и побрел за Лизой. Лиза торопилась. Стукнула костяшками пальцев по двери палаты летчицы, подбадривающе улыбнулась мне через плечо и побежала дальше по коридору.

Я перешагнул через полутемную прихожую, постучал во вторую дверь. Летчица лежала в небольшой, но очень светлой комнате, почти ничего не имеющей общего с госпитальными палатами. Здесь стоял шифоньер с фанерками вместо стекол в дверцах, напротив возвышалось под узорной скатертью нечто похожее по контурам на комод, на котором стояло зеркало, какие-то флакончики, веером развернуты фотокарточки. На окне висели тюлевые занавески. Так было все ошарашивающе непривычно, что я только в последнюю очередь заметил хозяйку комнаты. Она полулежала в кровати, подсунув под спину две подушки. Левая, загипсованная нога тоже покоилась на подушке. На этот раз на летчице (так уж привыкли мы ее называть и вслух и про себя) был розовый халатик с широченными рукавами. И только сама она была по-прежнему жизнерадостной, улыбалась мне, будто мы закадычные друзья и не виделись бог знает с каких пор.

— Что же это вы, юноша бледный, глаз не кажете? Вы же обещали.

Я молчал.

— Ну что же, проходите. Садитесь вот в кресло. На первый раз казнить не велю, велю миловать... Так, значит, вы говорите, пьеса вам не понравилась?

Я сел в старое, с выпирающими пружинами конторское кресло, застланное каким-то портьерным лоскутом.

— Во-первых, я этого не говорил, — возразил я. — А, во-вторых, она мне действительно не понравилась.

— А у меня от позавчерашних прогулок поднялась температура, — вдруг сказала она, не особо огорчаясь этим. — Врач запретил мне всяческие выезды в свет. Вот и вынуждена опять лежать... Так все-таки чем вам не понравилась пьеса?

— В двух словах или как? — спросил я.

— А вы что, торопитесь?

— Не-ет. Просто жаль вас: человеку с температурой вредны длительные дискуссии.

Она засмеялась по-детски озорно, обрадованно.

— А может, дискуссии и не будет. Может, я тоже не со всем согласна... К тому же температура у меня была вчера, а не сегодня.

— Вот видите! Хотите, чтобы и сегодня повисилась?

Мне никогда раньше не приходилось вести столь длительный и столь праздный разговор с представительницей прекрасного пола. Это было приятно. Приятно сидеть вот так вблизи и смотреть в красивые, очень выразительные глаза, видеть, как в них вспыхивают смешинки, как они гаснут и появляется раздумье или озорство.

Мы говорили и говорили. О пьесе. Я доказывал, что любовь на фронте, да еще во вражеском окружении, под носом, что называется, у врага — выдумка автора. И вообще война — это не время и не место для любви. Валентина Васильевна слушала меня с неприкрытой снисходительностью.

После моей тирады она вдруг спросила:

— Юноша, а вы вообще-то знаете, что такое любовь? Хоть целовались когда-нибудь?

Кому в таком возрасте приятно признаться в своей любовной неопытности! Я замялся. Но когда поднял глаза, то передо мной уже не было той смешливой и озорной полудевчонки. Была женщина, сраженная горем, осунувшаяся и даже постаревшая. Я испугался, я сильно испугался. Мне показалось, что с летчицей плохо, что сейчас она потеряет сознание или забьется в истерике... Видимо, все это отразилось у меня на лице, потому что она с нескрываемым усилием, с натугой улыбнулась. Улыбнулась горькой улыбкой.

— Вы меня извините...

Взгляд летчицы переметнулся на комод.

Я непроизвольно повернулся. И только теперь заметил, что с фотографий, расставленных веером, смотрело одно и то же лицо — мужчины с броским разлетом черных бровей. Здесь он был и в летном шлеме, и в пилотке с кантиком, в фуражке с «крабом», в меховом комбинезоне и без головного убора с буйным чубом, улыбающимся и насупленным. На одном из снимков он стоял задумчивым, с белой ромашкой в руке.

— Это его последний снимок, — сказала летчица обрывающимся голосом. Я опять незольно обернулся. Нет, она не плакала, лишь лицо ее было серьезным и даже строгим. Глаза теперь казались жестко-стального цвета.

Я подумал: не оставить ли ее одну? Сказал поэтому несмело:

— Может, я пойду?..

— Нет, нет, что вы! — вырвалось у нее. — Я так одинока здесь.

Мне стало очень жаль ее. Такой беспомощной и слабенькой показалась она мне в эту минуту. Нет уже озорных искорок в глазах, от уголков рта скользнули вниз жиденькие морщинки.

В это первое свое посещение я пробыл у нее целый день — лишь на несколько минут уходил на обед. Старший сержант встретил меня

долгим вопросительным взглядом. Но я ничего ему не ответил, молча съел свой обед и, не глядя в его сторону, снова ушел к ней. Мы говорили до позднего вечера. И в основном о детстве.

— Знаете, я страсть как любила весной бегать по проталинам босиком. — Лицо ее оживлялось при этом, она превращалась в озорного подростка, даже хохолок поднимался на затылке. — Прибежишь в избу, а ноги, как у гусенка, красные. Мать наподдает подзатыльников. Для виду пошмыгаешь носом — и опять за свое. Нас было у матери шестеро. Я — старшая. Поэтому за все проказы мне и попадало больше всех. А еще на завалинке хорошо сидеть. Солнце пригревает. Ой, до чего же ласковое весеннее солнышко! Сидишь на оттаявшей завалинке, подбравши под себя ноги, и любишься...

Она с таким воодушевлением все это рассказывала, что куда-то постепенно исчезла моя стесненность. Оба смеемся по-детски радостно. Я бесцеремонно перебиваю ее — мне тоже хочется высказать нахлынувшее недавнее и в то же время такое далекое:

— А мы весной любили бегать на речке по льдинам. Они крутятся. Интересно! А потом, когда начинается лесосплав — по бревнам. Ты не бегала? У-у! Это так здорово! Особенно, когда затор. По всей реке — сплошной настил. Бежишь по бревнам, а они буль, буль, буль — тонут под тобой. Останавливаться ни в коем случае нельзя — бревно начинает вертеться. Чуть зазевался — бултых в воду!

— Нет, а я, помню, любила с завалинки смотреть на дальний лесочек. Я росла в Башкирии, у нас кругом степь. А лесочек этот всегда манил меня своей загадочностью. Я не была в нем до седьмого класса. И мне казалось, что там какая-то особая жизнь, другой мир. Сказкой он мне казался всегда. Тебя никогда не манило в дальние страны? Вот этот лесочек и казался в то время для меня самой дальней страной...

Думалось мне, не было в эту минуту счастливее человека, чем она.

— А когда в школе училась, мы возьмем и в патрон бумажку мокрую вставим. Начнется урок нормально. А потом бумажка высохнет и лампочка гаснет. Начинают пробки проверять, искать повреждение. Глядишь — урок и кончился. Особенно это делали мы «немке». Вредная была...

— Нет, а мы военрука изводили. Он страсть как любил, чтобы все у него было пунктуально строго разложено на своих местах. А мы возьмем и все наоборот разложим — карты и все три указки положим не с той стороны и не тем концом. У него каждая указка была для определенной карты. А в ножки стула воткнем иголки, на них пистонки с хлебным мякишем наденем и поставим в сторонке. Он рассвирепеет, схватит стул: «Вот где ему место, сколько раз приказывал!». Грохнет его об пол, а пистоны как бабахнут...

— А мы делали вот так...

— А у нас было...

Мы перебивали друг друга, рассказывали взахлеб. И не заметили, как пролетел день. Спыхватились, когда ей принесли ужин. И словно очнулись от красочного радостного сна. Я поднялся.

— Ну, ладно, отдыхайте. Я пойду.

— Вы только завтра обязательно приходите. Прямо с утра. Ладно?.. Ой, какой сегодня день был хороший, — вырвалось у нее. — С вами я так себя свободно чувствовала. — Она замаялась: — Понимаете, приходили тут ко мне несколько раз. Но мы не нашли общий язык. Они видели во мне только женщину... А мне не хватает друзей. Я всю жизнь среди друзей жила. И в детстве только с мальчишками играла... А сейчас мне особенно не хватает друга. — Я смотрел на нее и видел, как у нее глаза наполнились слезами. — Будьте мне другом...

Я торопливо закивал головой и вышел.

В палате я машинально уплел остывший ужин, даже не разобрав, что ем. И тут же подсел к старшему сержанту. Он с удивительной для него жадностью приготовился слушать.

— Знаешь, старшой, — начал я решительно и почему-то на «ты», — оставь ее в покое. Она не из тех.

— А почему ты думаешь, что я из «тех»? — произнес он медленно.

— У нее большое горе.

— В горе надо помогать человеку, а не бросать его одного.

А что, подумал я, он правильно сказал. Только при чем тут он? Настоящую-то дружбу способен принести ей только я, ибо лишь я не вижу в ней женщину...

Проснулся я с радостным ощущением чего-то светлого на душе. Умывался тщательнее обычного, посмотрел на себя в зеркало: правда — юноша бледный, притом еще и худющий, шея длинная, тонкая, как у гусенка, никак на солдатских харчах не наем солидности. С нетерпением ждал врачебного обхода. Едва он закончился, двинулся из палаты. Но докторша пошла к ней. Я стал прохаживаться по коридору. Сзади услышал:

— Еще один «прохвессор» выискался, тоже около ее дверей околичивается. Ох, молодежь, молодежь, и война им нипочем! Жизнь, она свое берет, мужики...

Докторша была у нее невероятно долго — так, во всяком случае, мне показалось. Наконец, она вышла, и я постучал в дверь.

Валентина Васильевна встретила меня, сидя в коляске, улыбающаяся. Я обратил внимание, что и у нее тоже шея тонкая и тоже длинная. Но у нее это выглядело красиво.

— Ой, как хорошо, что ты сразу пришел! Знаешь, давай будем на «ты». И зови меня просто ВалеЙ, ладно? Тебе сколько лет-то?

Я смутился.

— Много уже.

— Восемнадцать есть?

— Скоро девятнадцать, двадцатый пойдет.

— Мальчик еще! И уже ранен. Бог ты мой! — Она покачивала головой и смотрела на меня покровительственно, по-матерински. — Будешь моим младшим братишкой. Согласен?

Мне почему-то не очень хотелось быть ее младшим братишкой. Другом — это совсем иное, это солидно и вообще приятно.

— Дай поглажу тебя по головке...

— Ну да! Еще чего! — рассердился я.

Сел в кресло напротив и насупился. Она смотрела ласково, улыбаясь. И тут я вспомнил про старшего сержанта.

— Вы... ты получила записку от нашего старшего сержанта?

Она задумчиво кивнула.

— Так ты извини его. Понимаешь, у него так получилось. А вообще, он хороший парень. Разведчик. Вдумчивый, серьезный.

— Глупый ты! Мне на его серьезности ездить, что ли? У меня есть вот экипаж. Чего ты мне его расхваливаешь?

— Да нет, я ничего. Просто человек терзается, что наговорил тебе всяких пошлостей.

— Ну и передай, что я его прощаю. И хватит о нем!

Она потянула руку к моей уже отросшей шевелюре, потрепала волосы, вздохнула:

— Такие же жесткие, как у него.

И заплакала вдруг неутешно и горько...

Через неделю, когда она уже начала ходить с костылями, я несколько раз приводил ее к нам в палату, намеренно, с целью: мне хотелось, чтобы она познакомилась поближе со старшим сержантом. Но разговора у них как-то не получалось — он слишком смущался, этот невозмутимый и храбрый разведчик. Да и она тоже, очевидно, чувствовала себя связанно.

А еще через две недели меня выписывали в команду выздоравливающих. После завтрака сестра-хозяйка принесла мне новое зимнее обмундирование, и я начал собираться. Старательно намотал зимние суконные обмотки, опоясался зеленым брезентовым ремнем. Стал складывать в вещмешок немудрящие солдатские пожитки: пару запасного белья, запасные портянки, полотенце, булку хлеба, банку тушенки.

Вдруг в палате стало непривычно тихо. Я обернулся. В дверях стояла она. Я сразу и не узнал. На ней был темно-голубой авиационный френч, такая же юбка и рубашка с галстуком. Но главное, что ослепило — это ордена. Бог ты мой! У нее орден Красного Знамени, два орде-

на Красной Звезды и медаль «За отвагу». А в петлицах по два «кубаря». Палата остолбенела.

— Вот это здорово! — первым придя в себя, воскликнул восторженно старший сержант.

Теперь смутилась она.

— Пришла проводить воина при полном параде, — произнесла неловко, словно оправдывая свое появление в форме. — Даже костыли рискнула оставить по такому случаю. — Сильно налегая на трость и подволакивая левую ногу, прошла в палату, оглядела меня.

— Боже мой, гимнастерка-то мятая! Пойдем ко мне, поглажу.

— Ну да! Будто я на свадьбу собираюсь.

— Солдату главное самому быть гладким, а гимнастерка выгладится на нем, — вставил старший сержант; он прямо-таки сиял.

— Солдат всегда должен быть аккуратным, — обернулась она с улыбкой к старшему сержанту. — Вам-то, Николай Михайлович, это известно. Наверное, сами своих разведчиков муштровали.

Валентина Васильевна стала разворачивать сверток, который принесла с собой.

— Я вот выпросила для тебя у начальника госпиталя тушенки несколько банок, сала.

— Это зачем же? Будто меня в команде выздоравливающих кормить не будут!

— В армии не положено пререкаться со старшими. Понял?

— Слушаюсь, товарищ гвардии лейтенант! — гаркнул я и вытянул руки по швам.

— То-то! А здесь, в баклажке, спирт. Из полка еще привезла. Когда отправляли в госпиталь, ребята сунули... Дай-ка я тебе уложу вещмешок. Поди, напихал как погало...

Она старательно уложила вещмешок. Я надел шинель, стал прощаться с ребятами, подходил к каждому, пожимал руку. Потом взял свои пожитки:

— Ну, Валя, будь здорова!

Она заглядывала на меня снизу вверх, какая-то непохожая на себя в этом френче, с мальчишеской прической, серьезная, неулыбчивая. Потом вдруг пригнула мою голову и крепко поцеловала в губы.

— Возвращайся домой живым! — Она улыбнулась и тихо добавила: — Бледнолицый брат мой...

И я вернулся домой живым.

Прошло много лет после войны. И вот однажды я ее встретил. Вернее, вначале я встретил его — бывшего разведчика, а уж потом и ее. У них трое детей. Они оба инженеры-строители.

Какая она теперь стала, наша летчица? Располнела. Конечно, на девчушку-подростка уже не похожа. Глаза потемнели. Но порой бывают прежними, озорными. Когда она сидит, то левая нога у нее полусогнута — полностью не сгибается. Из ее нынешних сослуживцев мало кто знает, что в войну она была летчиком-истребителем — ведомым у своего первого мужа. Его портрет висит у них в гостиной.

И еще мне хочется добавить: не пытайся, дорогой читатель, разыскать эту семью у нас на Алтае по фамилии — фамилию я изменил. Так хотела она, так хотел и он.

В ЗЕМЛЯНКЕ

Я никогда не видел лица этого человека. Я не знаю ни имени его, ни фамилии, не помню, откуда он родом. Знаю лишь, что он лейтенант — и все. Мы говорили с ним всего каких-нибудь два—три часа. И тем не менее я не могу не писать о нем, ибо он запомнился мне на всю жизнь.

Встретились мы так. Я протиснулся в землянку. В ней было тихо, тепло и абсолютно темно. На всякий случай поздоровался. Мягкий раздумчивый голос настороженно спросил:

— Кто?

— Из новеньких я. Пополнение.

— А-а... То-то слышу — голос незнакомый. Откуда прибыл?

— Из госпиталя. После ранения.

— Где воевал.

— Под Котлубанью.

— Да-а, там были сильные бои осенью... Располагайся, отдыхай! Есть хочешь? На печурке котелок со «шрапнелью». Хлеб пошарь, тоже где-то там.

— Спасибо, не хочу.

Видать, он был рослым: его ноги выдавались в проходе. Я нечаянно задел за них в темноте, когда стал устраиваться на другой лежанке, к печурке поближе — от нее чувствительно тянуло теплом.

— Откуда родом? — послышалось из темноты.

— Сибиряк.

— Хорошие ребята — сибиряки, — тепло произнес он и, помолчав, добавил: — У нас есть один сибиряк, Иван Исаев. Из Красноярска.

— А я с Алтая.

— Никогда не был в Сибири. Говорят, у вас на Алтае горы красивые, как в Швейцарии...

— Не был, не знаю.

— Где, в Швейцарии?

Я невольно засмеялся.

— И в Швейцарии не был, и в наших горах тоже.

— Зря. Посмотрел бы. Я вот люблю смотреть. Хотя сам почти всю жизнь не выезжал из родной деревни.

Он говорил неторопливо. Наверное, вспоминал дом, потому что стоило лишь заговорить о родной деревне, как в голосе сразу появлялась теплота.

— Я, знаешь, до войны механиком работал в совхозе. Казалось — скучная работа. А вот сейчас как начну вспоминать — а вспоминаю почему-то все чаще и чаще — и думается, что интереснее моей работы вроде бы и нет. Так бы домой и улетел. В наш хреновенький гаражишко, к моим полуторкам. Люблю я их сейчас чуть ли не больше всего на свете. Запах гаражный!.. Ты, наверное, не представляешь всего этого? Тебе сколько лет-то?

— Через неделю девятнадцать...

— Конечно, неженатый?

Я хмыкнул.

— Да что я, очумел!

— А я вот очумел... Хотя мне вот уж двадцать два...

Он долго молчал. Видимо, снова улетал мысленно в свою деревню, потому что немного спустя, когда я уже вроде бы начал придремывать, вдруг заговорил снова:

— Была у нас в деревне девчушка. Невзрачная, серенькая. Я уж школу кончил, а она еще ходила в восьмой или девятый. А может, и в десятый — я тогда не интересовался. Мимо нашего дома ходила. В материнных валенках, в большой шали. А потом как-то однажды весной вдруг скинула всю эту шуштуру. Увидел я ее и остолбенел. Думаю: бже мой, откуда такая красота-то взялась! Из ничего вроде бы расцвела! Стою, рот разинул. А она улыбается: «Что, говорит, только сейчас меня и заметил? А я-то, дура, думала, ты зрячий»... Вильнула подолом и прошла мимо. И началось у меня, как в любовном романе: я за ней, а она от меня. Чувствую, что совсем не отрезает, но и близко не подпускает. Обиделась, что ли...

Он зашуршал газетой — видимо, впопыхах отрывал лоскут на закрутку. Потом заработала «катушка», посыпались искры. Прикурил. Мне был виден красный огонек сигарки, и когда огонек вспыхивал, то освещался кончик носа и глубокая ямочка на угловатом волевом подбородке.

— И откуда у них такая обидчивость берется? Вроде бы вчера еще соплюхой была. А тут сразу на вот те — гонор...

Он опять замолчал. Лежал, попыхивал сигаркой. Потом вздохнул.

— Приду, бывало, в клуб, а она с учителем танцует. Был у нас такой очкарик, на скрипке играл. Каждый раз, как только самодетель-

ность выступает, он «Амурские волны» да «Дунайские волны» — одно и то же пикирует. До сих пор не переношу я эти вальсы — так он мне со своей музыкой в печенки вьелся!

Он тихонько засмеялся.

— В госпитале, знаешь, однажды услышал, так меня трясло стало, как в лихорадке. Доктор был у нас, весельчак-старичок, говорит: у тебя, парень, по-медицински выражаясь, аллергия, то есть невосприимчивость к этим вальсам. Явление, говорит, довольно редкое в природе... А я-то знаю, чего ради у меня такая невосприимчивость! Бывало, подойду к ней. Не успею двух слов сказать, а он тут как тут: разрешите, говорит, пригласить вас на танец. Какая тут может быть восприимчивость! Так бы ему и заехал. А все от злости, что сам танцевать не выучился — стоял, стены обтирал. Но зато, когда танцы заканчивались, тут уж я к ней никого не подпускал — как коршун кружил вокруг... Долго мы так хороводились. Долго она испытывала меня, так сказать, на прочность... Я к тому времени уже начал понимать, что любовь должна чем-то питаться, не только одной ревностью и петушиным задором. Чувствовал, что очкарик со своими вальсами не нужен ей. Она с ним заигрывает, чтобы подразнить меня, разжечь во мне чувства и убедить, насколько они сильны. И вообще, посмотреть, наверно, на что я способен. А когда я это понял, воспрял духом: танцами и всякими там дунайско-амурскими вальсами мне, конечно, не взять, а вот насчет всего другого...

Он легко поднялся на лежанке, два раза торопливо затянулся окурком, осветив подбородок, острые скулы и свесившийся на лоб чуб, бросил окурочек к печурке и снова лег на спину. Долго молчал.

— Я, знаешь, технику люблю... Мне бы образование инженерное, я бы, может, стал что твой Рудольф Дизель. — Вздохнул. Стал снова отрывать газету, закуривать. — Нет, я бы непременно изобрел что-то новое. — И вдруг спросил меня: — Ты в технике кумекаешь?

— Да так, общее представление имею. Трактористом работал немного.

— Ну, тогда ты поймешь, — оживился он. — Понимаешь, задумал я изобрести принципиально новый двигатель. Без поршней и без кривошипно-шатунного механизма. Роторный двигатель. Понял?

— Не очень.

Он засмеялся.

— Конечно, надо бы чертеж посмотреть. А в двух словах принцип его работы таков. В динамомашине ротор видел? Вот и тут такой же стержень. Между стержнем и стенками цилиндра фигурное пространство, в котором вращаются лопасти и за счет конфигурации стенок создают разницу давления в цилиндре, производят всасывание, сжатие и выхлоп. Понял?

Я не совсем понял, но сказал:

— Примерно представляю.

— Так вот, я ночами сидел над этим двигателем. Массу литературы перечитал. Начал вроде бы шутя, вроде бы в пику тому очкарику, а потом захватило меня. В мастерской отлил чугунный цилиндр, какой нужно было. Всем гаражом драили до зеркального блеска. Долго не заводился. Потом только понял: обороты ему надо большие. Пружину заводную приспособил. Ка-ак крутнул! Завелся. Понимаешь, весь гараж прыгал от радости. А я, конечно, больше всех. Хорошо рабстал. Только нагрузку не принимал, малосильный получился. В чем дело — до сих пор понять не могу. Но я его добыть все равно. После войны в Академию наук поеду с ним. Какому-нибудь ученому отдам, пусть до ума доведет мою идею.

Он снова замолчал. И надолго. Докурил сигарку, заплевал на ладони, не поднимаясь, бросил к двери, откуда тянуло стужей.

Меня подмывало спросить, чем же кончились его ухаживания. Кашлянул.

— Ну, а как с тем делом? Свадьба-то была?

Он молчал... Неспроста молчит, подумал я. Должно, отбил очкарик у него девку-то.

— Не было свадьбы, — наконец, сказал он тихо. — На второй день войны меня взяли в армию. Прибежал к ней домой. А ее нету, в город уехала по каким-то делам... Прибыли мы на станцию. Ждем отправки. Много нас скопилось. Сутки ждем. На душе у меня до того муторно, что ее не повидал на прощанье, — хоть волком вой! К вечеру подали вагоны. Вдруг слышу: меня вызывают. Выбираюсь из толпы. Она! Кинулась ко мне на шею. Плачет, целует меня и приговаривает: «Дура! Вот дура-то — сама себя счастья лишила!» И еще всякие ласковые слова мне говорила при всех, никого не стесняясь. А потом достала из-за выреза кофты загсовый листок, говорит: «Хочу быть твоей женой. Давно согласна, да вот из-за своего дурного характера и тебя мучила и сама терзалась, все не верила, что ты меня сильно любишь. Давай распишемся в присутствии вашего командира. Едва упросила председателя сельсовета. Выдал листок»... Ну, я от радости, конечно, очумел, расписался сдуру-то. В эшелон и — поехал.

— Почему сдуру-то? — искренне удивился я.

— А что умного-то? Закабалил девку этой бумагой — и все. Ни жена, ни невеста...

В землянке стало тихо. Я приподнялся на локте, ожидая продолжения рассказа: что же, что же дальше?.. А что, собственно говоря, могло быть дальше?

У входа в землянку послышались торопливые шаги. Заскрежетала обледенелая палатка. Просунулась голова.

— Лейтенант! К пээнша-два!

— Сейчас!

Он начал собираться. Я тоже сел на своей лежанке.

— Может, помочь чем-нибудь, товарищ лейтенант? — предложил я.

Он ничего не ответил. Долго шуршал одеждой. Посапывал. Потом сказал бодро:

— Ну, парень, отдыхай! Мы за «языком»... Вернусь — покажу тебе чертеж двигателя. Будет интерес — покумекаем вместе.

Но он не вернулся.

Утром принесли его ребята на плащ-палатке и похоронили. Я прибежал на взгорок, когда над могилой уже давали залп длинными очередями из автоматов.

К концу дня я пришел в землянку старшины вместе с другими новичками получать оружие, валенки, маскхалат. Там сидел начальник разведки полка, пээнша-два, грузный капитан Сидоров и, как я немного погодя понял, писал родным погибшего лейтенанта. Старшина вывалил на стол содержимое лейтенантского вещмешка.

— Вещей ценных нету, товарищ капитан, одни письма... Вот, правда, папка с какими-то чертежами.

Капитан оторвался от писанины.

— Папку пошлем по инстанции в Академию наук — может, и в самом деле что дельное. А письма сжечь.

— Письма-то от жены, товарищ капитан. Чуть не каждый день получал. Любовь, должно, сильная была.

Не отрываясь от листа, капитан сухо произнес:

— Не посылате же их ей обратно.

И старшина молча стал бросать письма в топящуюся печь. Они ко-режились, свертывались в трубочки, словно никак не хотели сгорать, потом враз вспыхивали ярким пламенем и мгновенно превращались в черную фольгу.

Капитан закончил писать. Посидел еще, задумавшись. Повернулся к печке. Долго не мигая смотрел на огонь. Очень долго. Потом вздохнул, тихо произнес:

— Се ля ви...

— Что вы сказали, товарищ капитан? — поспешно спросил старшина.

Капитан все еще смотрел на огонь. Наконец, поднялся, оперевшись на колени.

— Такова жизнь, старшина!..

ПЕРВЫЙ «ЯЗЫК»

Любой моряк помнит первый выход в море, летчик — первый вылет. Помню и я свое посвящение в разведчики. Оно прочно впечаталось в память до мельчайших подробностей.

Декабрь сорок второго. Мороз и пронизывающий ветер. Самый короткий день и самая длинная ночь.

Нас выгрузили в хуторе Вертячем, роты полторы—две. Долго держали в строю на ветру: видимо, ходили куда-то кому-то докладывать о нашем прибытии. Потом завели в затишье — в заброшенный сарай с остатками мякины на земле и приказали располагаться на отдых.

Пригон был из плетня, когда-то в своей далекой молодости, обмазанного коровьим навозом, который к этой декабрьской ночи уже полностью отвалился. Чтобы представить «отдых» в таком «затишье», надо просто-напросто хотя бы мысленно продрожать в нем ночь. И не просто продрожать, а так, чтобы от дрожи ломило скулы, и опять-таки не просто ночь, а декабрьскую, длинную и морозную. И тогда эта ночь покажется вечностью.

Но, как и все на земле, сарайная «вечность» тоже имеет свой конец. Конец этот наступил утром. Нас накормили горячей похлебкой с мясом по-фронтовому щедро. Выдали паек махорки — в тылу курица мы не получали. Все с удовольствием закурили. И снова мир засверкал, заулыбался.

Нас построили, долго равняли, пересчитывали. В сторонке стояла небольшая группа командиров. Обращал на себя внимание высокий пожилой майор с рыжими усиками. Он то и дело поворачивался то к одному, то к другому из стоявших рядом. Как выяснилось немного погодя, это был командир полка. Он произнес перед нами короткую, слегка напыщенную, но тем не менее хорошо запомнившуюся нам речь:

— Мы — творцы истории, — сказал майор. — История будет писать о нас. А о тех, кто под всякими предлогами прячется за нашими спинами, о них история не пишет, а если и пишет, то только как о паразитах на здоровом теле народа...

Затем спросил:

— Разведчики есть?

Все молчали.

— А желающие?

Строй и на этот раз не шелохнулся. Колебался и я. Мне хотелось в разведку и в то же время было страшновато: а вдруг не смогу, не выдержу?

Командир полка повторил вопрос. И тут я решительно махнул рукой — эх, была не была! — и вышел из строя. Майор подошел ко мне,

совсем не по-военному положил руку на плечо, спросил фамилию, где воевал, где лежал в госпитале. Потом медленно двинулся вдоль строя, взглядываясь в лица красноармейцев. Кое перед кем останавливался, чаще всего перед молодыми, спрашивал:

— А ты не хотел бы в разведку?

Если парень отрицательно тряс головой, шел дальше. Если же тот мялся в нерешительности, то говорил:

— Подумай! Работа интересная.

Впервые я слышал, чтобы армейскую службу, да еще на фронте, называли работой.

— Правда, опасная. Но интересная. А что касается опасности, на фронте везде опасно.

И парень, как правило, выходил из строя.

Набралось нас, кандидатов в разведчики, человек пять или шесть. Он тут же назначил меня старшим. Развернул планшет, показал точку.

— В шести километрах отсюда, в балке Глубокой, вот здесь, штаб полка. Доложишь начальнику разведки капитану Сидорову, что прибыли в пополнение. Понял?

— Так точно! — не отрывая глаз от карты, стараясь запомнить маршрут, ответил я.

К удивлению всей команды, в том числе и моему, мы точно вышли к штабу. Я доложил. Капитан позвал старшину, осмотрел нас, распорядился:

— Накормить! А потом по землянкам — отдыхать!

Начало смеркаться, когда я протиснулся в указанную мне землянку. Там было тихо и тепло. На всякий случай поздоровался. Мягкий раздумчивый голос настороженно спросил:

— Кто?

— Из новеньких я. Пополнение...

А потом были похороны, первые мои похороны на новом месте, в разведке.

Весь следующий день я провел в нетерпении: хотел быстрее узнать, проверит себя, смогу ли быть разведчиком, по силам ли мне это.

Вечером весь взвод вызвали к штабу полка. Ребята стояли подобием строя, в расстегнутых фуфайках, а некоторые в одних офицерских шубных безрукавках. Шапки были с завязанными наверху ушами, заломлены у кого как: у кого на затылок, у кого на ухо, а у кого на лоб сдвинуты. Поеживались от ветра, тянувшего с юга по балке.

Начальник разведки сказал, что во взвод прибыло пополнение, что к новичкам следует отнестись по-братски, приветить их и вообще ввести в курс. В курс чего — он не сказал.

— На задание сегодня идет вчерашняя группа, — сообщил он дальше. — Вы уже обсмотрели все. Доводите дело до конца.

Он велел старшему зайти к нему в землянку, а остальным разойтись.

— Если из новичков есть желающие, могут тоже пойти, посмотреть, как берут «языка», — добавил он напоследок.

Уходили ночью. Выстроились перед штабной землянкой, теперь уже строго плечом к плечу. Все в белом, все одинаковые. Я тоже приткнулся на левом фланге. Ждем. Кого — я не знаю. Но вот вышли из землянки трое. Командир полка (я узнал его по голосу) коротенько объяснил задачу — всего несколько слов. Потом подошел к правофланговому, заглянул в лицо. Не узнал. Спросил, кто это.

— Исаев, — ответил тот тихо.

Майор пожал ему руку, что-то сказал так же тихо. Перешел к следующему. Тот тоже назвал свою фамилию. И так к каждому. Когда очередь дошла до меня и я назвал себя, он задумался на секунду—две, потом сообразил:

— А-а, из новеньких! Хорошо, что решил приглядеться. Можете не ходить к самому блиндажу, а наблюдать из наших траншей. — Он пожал мне руку, задушевно, тихо сказал: — Счастливо вернуться!

И мы пошли. Я чувствовал на ладони тепло от рукопожатия командира полка, в ушах все еще звучал его задушевный голос, участливо, по-отечески желавший мне счастливого возвращения.

Кругом темень — хоть глаз коли, впереди сереет спина в маскхалате. И я чуть не наступаю на пятки этому впереди шагающему. Я так уразумел главную свою задачу в этой вылазке: не отстать и не потеряться в безбрежной степи, укутанной в кромешную тьму. Изредка впереди взлетают ракеты, татакают пулеметы. По этим признакам я стараюсь определить линию фронта.

Шли долго и неровно — то шагали неторопливо, то бежали, а то и останавливались совсем. Наконец, поползли. Теперь перед моим лицом вместо спины маячили подошвы чьих-то валенок. Валенки движутся — я тоже ползу. Валенки останавливаются — и я замираю. И вдруг какая-то пелена опустилась перед глазами. Скинул рукавицу, нащупал — оказывается, это капюшон. Пока старательно закинул его обратно на шапку, с ужасом хватился: валенки исчезли. Не поднимаю головы, словно принохиваясь к земле, кинулся вперед, потом вправо, влево. Хотел уже кричать. Вдруг наткнулся на что-то. Пошарил — валенки! Обрадовался. Решил не спускать с них глаз. Но мешал капюшон: он то и дело сползал с шапки (как потом выяснилось, у него есть тесемки, которые завязываются на затылке, а я о них понятия не имел). Все мое внимание теперь всецело поглощали валенки и капюшон; следить за тем, что творится вокруг я уже просто не мог. Да и все равно ничего не было видно.

Валенки оттолкнулись и... исчезли. Я растерялся. Хотел ринуться

вперед. Но перед глазами вдруг очутилось чье-то лицо, почти вплотную к моему, носом к носу.

— Ты чего ползешь? — услышал я шепот. — Тебе велено оставаться там.

— Где?

— Там, у наших.

— А я у каких?.. Разве уже прошли?

— Давно. Вон видишь, немец ходит, — разведчик указал рукавицей.

Я присмотрелся — действительно!

— Живой?

— Кто?

— Немец-то...

— Ну, раз ходит, значит, пока живой... Давай, шпась обратно!

— Не-е... Я один заблужусь. Темно.

— Может, тебе ракетой посветить? — Глаза разведчика озорно блеснули, он, как маленького, щелкнул меня в лоб. Развернулся было на животе, но потом снова повернулся обратно, зашептал мне в лицо: — Тогда не отставай от меня.

— Я и так...

Он крутнулся. И передо мной опять валенки.

Ползли медленно, с частыми остановками. Потом замерли надолго. Так надолго, что я устал лежать, прислонился к валенкам щекой, притих и задумался... Вот почти всю ночь на снегу, а тепло! Что значит сухие валенки, а не ботинки с обмотками. Да и шубенка, хоть и безрукавка, а как греет!.. Скоро, наверное, светать будет... А в разведке не сколько и не страшно! Это, должно быть, потому, что ребята здесь такие дружные, опытные и смелые... Собственно, какая тут смелость — проползти и все. Сейчас возьмем «языка» — и домой... А тепло, на самом деле. Как будто печка где-то греет...

И вдруг — толчок. Очнулся в дрожи. Неужели спал? В лицо мне шепот:

— Быстро назад!.. По своему следу...

Но ползать быстро я, оказывается, не умел. Сапу много, а продвижения вроде бы никакого. К тому же почти сразу потерял след. Запурхался, взмок. Кто-то подтолкнул меня:

— Давай сюда...

И только когда впереди у меня опять замаячили валенки, я успокоился, проворнее нажимая на локти и на колени.

Валенки впереди меня мелькнули в воздухе и исчезли. Подполз — траншея. Тоже кувырком туда. Следом кто-то свалился мне на голову. Потом еще, еще...

Все были возбуждены, смеялись. Разговаривали уже не шепотом.

Мне тоже было весело. Почему — не знаю.

— У кого кисет близко?

— У меня уши опухли — не достать...

— Ну, жмоты! Никак на чужбинку не закуришь...

Я торопливо вытянул свой кисет:

— Натя, кто там хотел?

— Один сознательный нашелся...

Мне уж очень хотелось стать своим среди этой шумной веселой компании. Но кисет тут же вернулся ко мне.

— На, спрячь...

Каждый стал закуривать из своего. Оказывается, у них такая шутка: выкурить у кого-нибудь весь табак, а потом не давать ему своего, подтрунивать над ним. Надо мной шутить не стали — значит, еще чужой. Но это я узнал и понял потом, позже.

С немецкой стороны взвилось несколько ракет. Ребята со сбитыми на затылок шапками, разгоряченные, озорно глядели на ракеты:

— Давай, давай, свети...

Меня подмывало спросить, почему же «языка» не взяли? Ведь близко ходил. Значит, думаю, нельзя было — они же знают, когда можно, когда нельзя.

Кто-то торопливо подошел по траншее:

— Кончай, ребята, курить! Скоро светать будет. Надо затемно выбраться отсюда.

— Погоди, лейтенант, только закурили!

— Дай отдышаться...

Лейтенант тоже присел в траншее на корточки, попросил:

— Дайте дернуть разок. Заворачивать уж не буду...

Руки с сигарками протянулись к лейтенанту...

Обратно шли так же неровно: то неторопливо, а то бегом. Наконец, спустились в балку, на дорогу, по которой возят на передовую кухни и боеприпасы.

Светало. И тут я неожиданно обнаружил, что один среди нас идет без маскхалата. Пригляделся — немец!

— Батюшки! «Языка-то» все-таки взяли? — вырвалось у меня.

Рядом шагавшие ребята захохотали. Необидно, без издевки, скорее с торжеством: вот, мол, как удалось нам тебя разыграть — взяли немца, а ты и не видел когда!

— А что, ребята, с новенького сегодня причитается, — начал кто-то, будто вспомнив о само собой разумеющемся, но всеми вдруг забытом.

— Точно! Крещение парень принял. Омовение надо сделать...

— Первый «язык» в жизни.

— Везучий ты.

— С ходу и — «язык»!
Я смутился. Пролепетал:
— А где я здесь что возьму?
— Это уж где хочешь!
— У старшины выпроси...

Взрыв хохота: видимо, это было самым смешным, выпросить у старшины водки.

— А если не даст, организуй так, чтобы не видел...

— А если увидит — чтобы не догнал...

Все хватались за животы, смеялись и, конечно, не потому, что это было бог весть как остроумно, а потому, что настроение у всех расчудесное: «язык-то» взят! И без жертв — никого не несем на палатке.

Кто-то выпнул застылое конское яблоко, начали гонять его по дороге, как мальчишки на деревенской улице. Толкались, прыгали, дурачились. «Боже мой, — улыбался я, — как хорошо-то в разведке!»

Мне казалось, что здесь всегда так...

И никто из нас не знал тогда, что не пройдет и трех недель, как от всего взвода останутся лишь двое: Иван Исаев и я. Остальные полягут у вражеского дзота, скошенные в упор немецкими пулеметами.

КУШНАРЕВ

Младший лейтенант Кушнарев был вторым командиром взвода — в разведывательных подразделениях, как правило, не один, а два командира. Худенький, бледный, с тонкой длинной шеей и какой-то весь прозрачный, он чем-то напоминал прихваченный морозцем цветок — таким он казался хилым и невоинственным. Длинные тонкие пальцы прирожденного музыканта странно не соответствовали грубой штамповке ППШ, который младший лейтенант постоянно носил с собой. Большие выразительные глаза его смотрели на окружающий мир с детским любопытством. О таких обычно говорят: ему бы родиться девочкой. И действительно, столько в нем было немужского, столько хрупкого и нежного.

Как он попал в разведку — затрудняюсь сказать. Не иначе, как после долгих и настойчивых просьб. И хотя он был явно инородным телом во взводе среди крепких, пышущих здоровьем ребят, я не помню человека, которого разведчики любили бы больше, чем Кушнарева.

Он был большим ребенком во взводе. И как ребенок, он, казалось, не совсем понимал, что такое война, хотя наравне со всеми старался нести тяготы будней разведчиков. Ребята же в свою очередь при малейшей возможности старались облегчить ему эти будни. Он, конечно,

этого не замечал, а если бы заметил — страшно обиделся бы. Он хотел быть настоящим разведчиком, безо всяких скидок. Поэтому порой очертя голову лез туда, куда вовсе не следовало. В таких случаях ребята сердились на него не на шутку.

Помню, однажды, возвращаясь с операции, мы заблудились и не попали в проход на своем минном поле. Вот-вот немцы должны хватиться исчезнувшего часового, с минуты на минуту полетят в небо ракеты, а мы лежим на голом месте, тычемся, как слепые котята, во все стороны и не можем найти прореху, в которую должны проползти. Зло берет — глупее ситуацию трудно придумать! В пятнадцати метрах от своих траншей, с «языком», покосят нас фашисты из пулеметов — и ничего не сделаешь.

Несколько ребят из числа наиболее ловких и бывалых мечутся по кромке минного поля, ищут. Кушнарев тоже хотел было присоединиться к ним, поискать, помочь. Но кто-то вовремя в темноте успел поймать его за ногу, притянул к себе.

— Тебе что, жить надоело? Сиди и не рыпайся! Без тебя, что ли, не найдут...

— Отпусти сейчас же!.. Да что я...

— На первой же mine подорвешься!

Еще кто-то вмешался:

— Правда, Женьк, что ты суешься! Некому, что ль?

— А почему мне нельзя? Никогда не пускают. Я сам хочу!

— Ладно, лежи. Также мне «сам» нашелся! И вообще, какой дурак пустил тебя на фронт!..

Младший лейтенант обиженно притих. Зато потом, когда вышли на свою землю, распетушился:

— Я командир взвода или не командир?

Ребята согласно кивали:

— Вот теперь ты командир. Командуй!

— Хватит! Я больше так не могу! Или вы выполняете мои приказания, или я уйду в другой полк!

В такие минуты ребята молчат. Знают, что долго сердиться он не умеет, надо только выждать.

Немного погодя Иван Исаев начинает примирительный маневр.

— Не понимаю, младший лейтенант, чего в бутылку лезть? — Он с деланным удивлением пожимает плечами. — Все получилось очень хорошо: ведем «языка», все живы, здоровы. Что еще надо?

— Правда, младшой, — подхватывает Грибко. — Сейчас придем в штаб, доложишь. Исаев вытрясет из старшины спирту — гульнем малость. Хочешь, спирт пить тебя научим?..

Это козырной ход. Младший лейтенант давно хочет научиться захватски пить спирт. Но не может: всякий раз перехватывает дух. Курить

тоже пытался, но тут ребята рассоветовали. А о спирте поспорил, что научится. Поэтому он сейчас, не мигая, смотрит на Грибко, нового командира взвода. Потом поворачивается и молча шагает по балке впереди. Ребята переглядываются, улыбаются и гуськом шагают следом. Кушнарев не разговаривает ни с кем до самого штаба — изо всех сил старается казаться сердитым. Но не выдерживает. Лицо вдруг расплывается в улыбке.

— А здорово мы «языка» взяли, правда? — говорит он восторженно. И тут же наставительно тычет пальцем: — Только больше так не делать, ладно? Ведь все-таки я командир! А Колька мне: «Сиди и не рыпайся!» Нехорошо так, ребята. Договорились?

— Договорились, младшой...

При этом слово «младшой» ребята, как всегда, произносят с особым оттенком, чуточку покровительственно, с едва скрываемой нежностью, словно «меньшой»...

Покровительственное отношение взвода к своему командиру чувствовалось буквально во всем. Бывало, принесут ребята откуда-нибудь шоколаду или конфет (в Сталинграде, правда, такими трофеями редко разживались), обязательно все отдают младшему лейтенанту — как младшему братишке. Старались делать это незаметно, чтобы не обидеть, целые спектакли разыгрывали.

Делалось это примерно так. Кто-то вдруг спохватывался, хлопал себя по карманам:

— Да, слушай, младшой, чуть не забыл. Вот тебе принесли, — и начинал извлекать трофеи.

У Кушнарева вспыхивали глаза: страсть как любил сладкое! Он потирал руки.

— Ну, садитесь все. Сейчас мы их... — говорил он.

Теперь в спектакль вступал кто-то другой.

— Нет, ешь, это твоя доля. А мы вот так наелись! — И проводил ладонью по горлу. — Знаешь, сколько там хапанули!

И начинался импровизированный рассказ о том, как кто-то из ребят забежал попутно в офицерский блиндаж, когда уже «языка» вводили, а там на столе — сплошь шоколад и конфеты. Ну и нагреб полный карман. А потом всю дорогу до штаба все только тем и занимались, что поедали сласти.

И он верил.

Иногда спектакль варьировался: ребята отказывались от шоколада уже по другой причине. Говорили:

— Понимаешь, Женя, курящим нельзя шоколад есть. В соединении с никотином он отравляет организм. Три часа перерыв надо делать между курением и шоколадом...

Он верил и этому. С удовольствием ел шоколад, пачкая губы, об-

лизывая пальцы. Ребята сидели вокруг и с улыбкой смотрели на него.

Как ни старались разведчики оберегать своего «младшого», но война есть война. И он ходил с нами на очень рискованные операции. Со всеми вместе носил на плащ-палатке убитых, раненых. Только сн тяжелее других переживал гибель друзей. В такие часы на него было страшно смотреть. Казалось, вся его порывистая, нежная душа восставала против убийства, против войны. Ждали: вот-вот произойдет у него надрыв и начнется истерика...

Но срыв у него произошел по другому поводу. По самому неожиданному и самому смешному, хотя никто ни тогда, ни после не только не смеялся над ним, но даже не улыбнулся и никогда потом не пытался напомнить.

А произошло вот что.

В январе сорок третьего года началась ликвидация сталинградского котла. После упорных боев, наконец, была прорвана вражеская оборона, и наша дивизия клином стала входить в немецкую группировку. Мы не знали отдыха. В короткие часы затишья валились с ног в первом же, еще хранившем немецкий дух блиндаже. Блиндажи были сделаны капитально, внутри обшиты тесом, с пачками, с перинами, одеялами и подушками. Но беда — если можно это всерьез назвать бедой — подкралась совсем с другой стороны, откуда ее никак не ждали. В этих перинах и одеялах оказались мириады... вшей. Мы же по наивности своей и житейской неискренности, обрадованные теплом и уютом, спали выпавшие нам три—четыре часа мертвецки безмятежно, ни о чем не подозревая. И хватились тогда, когда уже было поздно, когда набрали этих фрицевских животных столько, что они полчищами бродили по нам. Покоя от них не было! Правда, ребята пытались шутить:

— Из разных блиндажей они, к разным воинским частям приписаны, вот и враждуют между собой, окружают друг друга...

Но Кушнареву было не до смеха. Его буквально корежило от этой мрази. Он уже не мог больше заснуть. Вылез из блиндажа, разделся догола, протряс все белье и всю одежду. Лег. А они опять за свое. Снова снял все с себя — а снимать ой-ой сколько: маскхалат, ватную стеганую фуфайку, шубную безрукавку, гимнастерку, теплое белье, обычное белье! Все это перебрал по каждому шву, по каждой складочке, притом на морозе. Лег. И снова — ползают!.. И тут он уже не вытерпел. Опустился на порог и заплакал. Доняли его паразиты. Сидел и поребячьи безутешно плакал — тер глаза и хлюпал носом. Помочь ему было нечем — лишь после сталинградских боев старшина наладил тщательнейшую прожарку. Ребята лишь очень сочувственно смотрели на него, и никто не улыбнулся. Больше того, после этого случая несколько не упало уважение к нему. Его любили по-прежнему, если не больше.

Помню, перед самым захватом тракторного завода, когда мы уже

перешли на оседлый образ жизни, заняв в Городище два просторнейших немецких бункера, кто-то привел пленного — их тогда через наши руки проходили сотни. Этот был с большой губной гармошкой.

— Младшой, послушай вот музыканта. Говорит, в оркестре играл.

Немец поспешно вынул гармонию и выжидательно уставился на «герр офицера», на его длинные музыкальные пальцы. Ему явно хотелось угодить этому юноше — авось что-нибудь перепадет со стола победителя. Кушнарев, конечно, не заметил этой готовности к услуге. Он заметил другое: немец был изможден до предела. И сказал ребятам:

— Принесите ему что-нибудь поесть.

Кто-то из ребят метнулся на кухню, приволок большой круглый котелок «шрапнели» с кониной. И немец стал есть. Это было незабываемое зрелище. Мы стояли и молча неотрывно смотрели, с какой жадностью поглощал он перловку. Пот ручьями тек по его лицу и капал в котелок. А он ел, ел и ел. Ему некогда было утереться.

Когда подскреб котелок, ребята спросили:

— Еще будешь?

— Я, я! — закивал он.

Он съел и второй котелок этой наваристой жидкой каши. Снова спросили. И он снова закивал. Принесли третий котелок! Но Кушнарев остановил:

— Хватит! У него же заворот кишок будет. Забаву нашли!

Котелок отставили. Велели немцу играть. И он заиграл наши песни. «Широка страна моя родная...», «Стенька Разин»...

Играл он хорошо. После артиллерийского грохота, пулеметной и ружейной пальбы незамысловатые писклявые звуки губной гармошки показались нам неземными. Ребята притихли. Сидели, не шевелясь, в самых разных позах, с самым разным выражением на лицах. Каждый думал о своем и каждый витал в своем мире. Кушнарев привалился к стене и закрыл глаза. Руки у него лежали на коленях. Пальцы подрагивали. Лицо было напряжено. Вдруг он подался вперед, открыл глаза.

— Слушай, камад, Бетховена можешь? Понимаешь? Бетховен!

Немец хлопал белесыми ресницами.

— Людвиг ван Бетховен! Понимаешь?.. Ферштейн?

— Я, я. Их ферштейн.

— Так сыграй же... Шпилен... шпилен!

Тот виновато затряс головой.

— «Аппассионату» можешь?

Немец снова затряс головой.

— Никс, дас кенне их нихт, герр офицер.

Кушнарев вскочил.

— Ребята, — заговорил он вдруг горячо, — вы же все можете!

Неужели фортепьяно нигде не достанем? Я б ему показал... А на этой слянухой не хочу.

Ребята дружно засмеялись.

— «Языка» взять можем, младшой. А вот эту самую фортепьяну, шут ее знает, где ее можно добыть.

Кушнарев постоял в раздумье. Махнул разочарованно рукой.

— Отдайте ему котелок, — распорядился он, направляясь к выходу из блиндажа. — Пусть жрет. И гоните в шею. Оболванил их Гитлер. Бетховена забыли...

На второй же день после капитуляции сталинградской группировки Кушнарев набрал из взвода желающих и повел в город. Мы лазили по подвалам универмага, где размещался штаб Паулюса, по подземным переходам, по развалинам бывших улиц и переулков, по дому Павлова. Недалеко от набережной в центре города уцелела стена дома, на которой чудом держалась мемориальная доска с надписью, что здесь в годы гражданской войны находился штаб царицынской обороны. На набережной лежала бронзовая фигура Героя Советского Союза летчика Хальзунова. Постамент памятника был взорван, правая рука пробита осколком. Младший лейтенант несколько раз обошел бронзовую фигуру, остановился у ее изголовья. Задумался.

— Дважды свергли они тебя на землю, — проговорил тихо. — Значит, сильно насолил!

Большие выразительные глаза его вдруг вспыхнули мальчишеской растроганностью.

— Ребята, давайте забинтуем ему руку, а? Это будет по-товарищески. Хоть он и бронзовый, а все равно...

Идея понравилась всем. Извлекли индивидуальный перевязочный пакет, благо их у каждого разведчика не один и не два, с усердием стали перевязывать бронзовую руку...

Мы ходили целый день. Наш «младшой» часто останавливался и благоговейно разводил руками.

— Ребята, — говорил он почти шепотом. — Здесь каждый камень отныне принадлежит истории. Вы это понимаете?

Ребята улыбались — кто из нас мог тогда мыслить такими категориями!

Он укоризненно качал головой:

— Эх вы, черствый народ!.. После войны детей своих привезем сюда, показывать будем.

Тут уж все смеялись в открытую: в девятнадцать лет всегда кажется смешным разговор о будущих детях...

Я не помню поименно, кто был тогда на этой первой в Сталинграде экскурсии. Но, по-моему, никого из тех ребят не осталось потом в живых. И, пожалуй, лишь мне посчастливилось много лет спустя проездом

побывать в городе. В течение сорока пяти минут — ровно столько, сколько стоит в Волгограде кисловодский поезд — таксист возил меня по центру, и я... ничего не признал. Нет, узнал! Узнал памятник летчику Хальзунову. Он стоит, пожалуй, на том же месте, только пьедестал под летчиком теперь гораздо выше и вокруг памятника зелень.

Конечно, мы, советские люди, должны гордиться, что за короткий срок подняли из руин город на Волге. Но мне, откровенно говоря, было немного грустно, немного жаль тех руин. А может, не руин. Может, юности своей, прошедшей тогда. А скорее всего — друзей, боевых товарищей, не доживших до наших дней.

Кушнарев не привел своих детей в город-герой.

Я не присутствовал при последних его минутах. Младшего лейтенанта Кушнарева, раненого, фашисты закололи штыками на Курской дуге. Кто знает, может, они в тот день закололи нового Рихтера. А у того, который колот, может, тоже была губная гармошка в кармане при этом...

«ПОЛУНДРА»

Я никогда не встречал более храбрых людей. Он был феноменом, его храбрость казалась прямо-таки неестественной.

Впервые я услышал о нем задолго до личного знакомства, когда лежал в госпитале. Прочитал в газете заметку, что разведчик энской части Константин Замятин среди бела дня один привел из немецких траншей «языка». Я тогда был уже разведчиком со стажем, поэтому ухмыльнулся и подумал: ну, это уж хватило через край!

И надо же было такому случиться, что через каких-то полтора—два месяца я попал в ту самую «энскую» часть, 1071 стрелковый полк 316 дивизии, в тот самый взвод, в котором был совершен описанный в газете подвиг. Буквально при первом же знакомстве мне не без гордости сказали:

— А про нашего Костю в «Красной Звезде» писали. Середь бела дня фрица привел.

— Причем, в полный рост...

— А мы, признаться, не поверили, когда в госпитале прочитали, — сказал я. — Так это, значит, на самом деле было?

— Точно! Вот он собственной персоной. Может рассказать.

Но то, что произнес сам Костя, никак нельзя было назвать рассказом. В его изложении все выглядело так:

— Ну что там такого? Пришел. Они спят. Крайнего стянул за ноги. Говорю: «Ком». И повел...

— Днем?

— Днем. А ночью сколько ни ходили — впустую.

Потом уж я узнал подробности. Перед этим случаем почти три недели ребята лазили и — хоть лоб расшиби! Нет «языка» — и все. Немцы до того уж были насторожены, что по малейшему шороху пускали десятки ракет и открывали ураганный огонь по всему участку обороны. Носа нельзя было высунуть из траншей. А «язык» очень был нужен. В полк приехал начальник разведотдела армии. Разговаривал с ребятами. Те виновато опускали глаза.

— Ну, хорошо, товарищ полковник, мы можем пойти и все лечь там. Но «языка» все-таки не возьмем.

Полковник ходил по просторной штабной землянке и сдержанно курил.

— Мне не надо, чтобы вы полегли. Мне нужен «язык»... Думайте, думайте, ребята! Безвыходных положений нет. — Он ходил и ходил. Потом погасил окурок, улыбнулся чуть-чуть. — Обещаю выхлопотать у командующего отпуск домой на неделю тому, кто возьмет «языка».

Ребята несколько оживились, но — увы! — глаз по-прежнему не поднимали.

И тут вдруг вскочил Костя.

— Я придумал, товарищ полковник! — обрадованно воскликнул он. Все вскинули головы. Полковник и тот замер с недонесенной до рта вновь зажженной папиросой.

— Ну-ка, ну-ка...

— Один приведу. Только мне надо очень сильное прикрытие.

— Хоть всю артиллерию полка, все пулеметы — все отдам! Говори!

— А тут и говорить нечего, товарищ полковник. Днем пойду. Мы днем еще не ходили.

— Мда-а, — несколько разочарованно протянул полковник. — И все?

Но Костя не смутился. Он вообще никогда не смущался.

— Они днем спят, товарищ полковник. Пообедают и дрыхнут. У них режим такой... курортный. Вот в это время я к ним и схожу...

И он пошел. Ухэрски — туда и обратно в полный рост! Правда, от туда, с немцем — бегом.

Восемнадцать минут, говорят, длилась операция! Восемнадцать минут передний край с замершим сердцем следил за Костей. Прикипели к станкачам пулеметчики, держа на мушке огневые точки противника, на прямую наводку выкатили противотанковые пушки. После первого же выстрела с немецкой стороны вся огневая мощь обрушится на врага. Но этого выстрела не последовало. Немцы действительно спали — кому из них могло прийти в голову, что какой-то безумец рискнет перейти стометровую нейтральную зону посреди бела дня! Ведь стоило

только кому-нибудь из бодрствующих случайно кинуть взгляд в нашу сторону...

Обычно в таких случаях говорят: «Повезло парню!»

Может быть, и повезло. Но тому, кто не рискует, — тому никогда не повезет — это уж наверняка...

Внешне Костя почти ничем не отличался от всех, особенно когда в маскхалате. А так, в обычное время, ходил в черном флотском бушлате, но в армейской гимнастерке, через расстегнутый ворот которой виднелась полосатая тельняшка. Трудно сказать, чем он больше гордился: тем, что он разведчик, или тем, что моряк. Но все звали его «Полундрой» — в разведке почти каждый имел кличку. И не в порядке конспирации, а просто по недавней мальчишеской привычке.

Жизнь во взводе шла по своим неписаным законам, с соблюдением каких-то давнишних традиций, с учетом неуловимых на первый взгляд нюансов. Я замечал, что когда на задание готовились малые группы, ребята почему-то избегали брать с собой Костю Полундру: никто не хотел его иметь в своей «паре» или «тройке». Сначала меня это удивляло. Потом я взял и спросил Кольку Виноградова. Тот помялся, что-то промямлил невнятное.

— Ну, а все-таки? — настаивал я.

Колька вдруг спросил раздраженно:

— Ты в деревне когда-нибудь жил?

— Приходилось.

— Видел, чтобы в одну упряжку запрягали рысака и рабочую лошадь?

— Так он что, рысак?

— Дурак ты! — сказал Колька и отошел...

Когда на задание шла большая группа, Костю никогда не пускали впереди. Никогда не назначали его старшим группы, хотя по смекалке и смелости он, конечно, не имел себе равных во взводе. Я замечал, что стоит только выйти на нейтральную зону, как Костя преобразался. Флегматичный и несколько вяловатый дома, тут он превращался в сгусток неукротимой энергии. Именно неукротимой. А после одного случая командиры взвода стали поручать кому-нибудь из ребят присматривать за ним во время операции, чтобы не выкинул какого-нибудь фортеля.

А случай был такой. Обложили мы блиндаж. Лежим в ложбинке, наблюдаем, ждем, когда к утру успокоится вся оборона и этот облюбованный нами блиндаж. Вдруг слышим: кто-то сопит. Насторожились. Сзади нас шепот:

— Эй, вы, помогите! Разлеглись...

Оказывается, Костя сползал уже метров за триста к другому блиндажу, оглушил часового и тащит его волоком по снегу.



Электронная библиотека ААИФ, aiflib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Конечно, от начальника разведки полка ему попало. Но смеху было много потом. Над нами. Ребята рассердились на него.

— Ты чего дурью маешься? Чего выпендриваешься?

Он с кислой миной ныл:

— Скучно большой оравсй ходить. Тоска зеленая... Лежишь, ждешь, аж спать охота.

Однажды он действительно уснул. Под носом у немца захрапел. Шарахнули его пинком под бок... И взял нас смех! В пятнадцати метрах немецкая траншея, а мы давимся от смеха.

Костя Полундра был рожден для войны и, в частности, видимо, для разведки. Он, человек мгновенной реакции, никогда ничего не планировал и не предусматривал. В трудную, точнее, в критическую минуту у него вроде бы помимо сознания срабатывали какие-то рефлексy, и все получалось само собой. Причем, надо сказать, так здорово, что, сколько бы мы все ни думали потом, лучшего выхода не находили...

На Украине случилось так, что наша группа человек в пять—шесть неожиданно оказалась впереди отступающих немцев, у них в тылу. Уже стемнело, когда мы вошли в село Старая Синява. Недалеко от перекрестка остановили нескольких женщин. Спросили, есть ли немцы в селе, много ли их проходит по дороге и куда в основном направляются. Вдруг из-за угла на полном галопе вывернулся всадник. Мы не успели сообразить что к чему, как Костя, словно пружина, метнулся навстречу, впился во всадника, проволокась на весу десяток метров, но все-таки стащил немца с седла. Второй, скакавший следом, успел повернуть. Часть из нас кинулась помогать Косте, другие торопливо палили из автоматов по припавшему к луке всаднику. Все же он ускакал. А может, и свалился потом неподалеку, потому что промазать мы не могли — слишком уж близко была цель.

Костин же немец оказался офицером, дал ценные сведения.

Таков был наш Костя Полундра — неожиданный, загадочный. Помоему, не один я — никто во взводе не понимал его до конца. Поэтому и держался он среди разведчиков как-то обособленно, у него не было среди ребят близких друзей. К тому же он почти всегда молчал. Но, конечно, не в этой его молчаливости заключалась причина отчужденности — болтунов в разведке не жалуют. Беда его, мне кажется, была в том, что он как-то не думал о других, забывал о чувстве локтя, о чувстве товарищества, подчинялся импульсу, действовал по наитию и не видел за этим возможных неприятных последствий для окружающих.

Его ранило на Буге. Ранило не очень сильно — осколком в ногу, но, кажется, с переломом кости. И мне выпало везти его в госпиталь — я должен был доставить в штаб дивизии пленного, а попутно отвезти Костю.

Он лежал и смотрел в небо. Я привалился спиной к передку, погля-

дывал на нахохлившегося, с поднятым воротником немца и думал... Впрочем, скорее всего не думал, а просто наслаждался пригревавшим солнцем, тишиной вокруг, запахом влажного снега, сена на телеге... Вдруг Костя перевел глаза на меня, вяло улыбнулся.

— Вздохнут теперь ребята... В тягость я был.

— Брось ты, Костя, — попытался я возразить.

Он снова долго смотрел на высокое голубовато-белое небо.

— Чего бросать! Сам знаю, неуклюжий я какой-то. Меня и мать звала непутевым. Всю жизнь я такой... А ребята хорошие во взводе. Я ведь хотел, чтобы все было как можно лучше. Но не получалось у меня. Всю жизнь у меня так — не получается...

Сейчас, когда я пишу о нем, о Косте Полундре, я думаю: наверно, начальник разведки полка должен был использовать его иначе: не посылать на рядовую черную работу вместе с нами со всеми, а подобрать ему такого же напарника и давать им обоим только необычайные задания. Любому таланту, в том числе и таланту разведчика, нужно помочь раскрыться полностью. А для этого тоже требуется особое умение.

В ГЛУБОКИЙ ТЫЛ

Полтора года я в разведке, и все это время — не исключая и месяцев, проведенных в госпиталях, — мечтал о вылазке в глубокий вражеский тыл. Беспредельно романтичной виделась мне эта вылазка. Должно быть, привлекало то неизведанное, что всегда кажется заманчивым до тех пор, пока оно недосягаемо. Мне, например, казалось тогда, что на такое дело способны люди особого склада, люди необычные, и вся атмосфера этой операции должна быть необыкновенной. Стоит лишь перейти немецкий передний край и углубиться в оборону, как сразу же начнутся захватывающие приключения: из-за каждого куста будешь видеть все, что надо твоему командованию: скопища войск и военной техники, и всюду с немецкой аккуратностью будут стоять таблички с наименованием частей, чуть ли не с переводом на русский, и «языки» будут ходить буквально у тебя под носом; останется только одна трудность: какого из них выбрать, чтобы не ошибиться...

Может быть, несколько утрированно, но приблизительно в таком духе представлял я тогда подобные операции.

Несколько раз нашему взводу выпадало задание проводить через линию фронта диверсионные и разведывательные группы. Но как-то так получалось, что делал это кто-то другой, а мне не доводилось: то я в это время дежурил на НП, то отдыхал, возвратившись с задания. А однажды, помню, когда привели этих ребят, сидел в землянке и кон-

чиком стерильного бинта старательно выколупывал из кистей рук и из лица мелкие осколки — пока в горячах не было больно — и размышлял: идти в санчасть или наплевать, зарастет так.

Их было трое: два парня и девушка-радистка. Неторопливо окинули взглядом внутренность нашей землянки, сели на лежанку. Неразговорчивые, сосредоточенные и спокойные, они за полдня не проронили ни слова.

Как теперь мне припоминается, девушка была худенькой, чуточку курносенькой, с мелкими крапинками веснушек... Парни тоже ничем внешне не выделялись. Но в то время они казались мне прямо-таки былинными витязями. Их молчаливость была таинственной, многозначительной, хотя к тому времени я вроде бы уже и привык к молчаливости разведчиков перед выходом на операцию. Но тут было совсем другое, тут передо мной были чуть ли не полубоги.

Очень хотелось спросить их о многом: о том, как попасть в такие разведчики, что чувствует человек там, на чужой земле, о том, почему они идут к немцам в нашей армейской одежде, а не в немецкой или, в крайнем случае, в гражданской. Но я знал, что перед серьезной операцией нельзя отвлекать человека, нельзя с ним разговаривать. Он должен быть наедине с собой, как художник в минуты наивысшего творческого подъема.

Наши ребята увели группу под утро. В ту ночь никто не спал. Все сидели в землянке и занимались делом: чистили оружие, пришивали воротнички, проверяли завязки на маскхалатах, кто-то точил финку и пытался побрить ею пушок на верхней губе, заряжали диски, не спеша, тщательно устанавливая каждый патрон, — кто знает, может, этот патрон сегодня кому-нибудь жизнь спасет.

Часа в три ночи пришел наш лейтенант в белом халате, с автоматом в руках. Обвел всех глазами. Молча сел у двери. Посидел минуту—две. Потом поднялся. Поднялись все. Кто не отправлялся на задание, вышел проводить. После освещенной землянки ночь показалась непроглядно темной. В двух метрах не видно ни зги — хорошая ночь! Ребята стали вытягиваться цепочкой на тропинку, ведущую от штаба полка к переднему краю. И трое растворились в темноте. Никогда не видел я их больше и ничего о них не слышал. Но не растворилась моя мечта. Она стала манить меня еще больше.

И вот летом сорок третьего на Брянском фронте я впервые принял участие в захвате «языка» в глубоком тылу врага.

Брянский дремучий лес. Болота. Сплошной линии фронта не было ни у нас, ни у них. С неделю готовились. В хозчасти сшили нам тапочки. Старшина принес запасных дисков по дюжине на каждого. Но особенно долго спорили о продуктах — чего и сколько брать. Прикидывали по нормам, потом эти нормы удваивали на предстоящую большую трату

энергии, потом прибавляли, исходя из принципа «идешь на день, бери на неделю». Создавалось впечатление, что собираемся не за «языком», а на пикник. Даже спирт предусмотрели. Старшина бегал на ПФС (продуктово-фуражный склад) и добывал все согласно нашим заявкам.

Но в итоге произошло так: когда стали укладывать вещмешки, каждый невольно старался положить побольше патронов и гранат и поменьше еды. Старшина стоял над нами и качал головой, и когда из вещмешков на плащ-палатку снова переключались последние пачки сахара и консервные банки, он вздохнул, растолкал всех и решительно командовал:

— Отставить пижонство! — Хватал килограммовые банки тушенки и совал каждому в мешок. — Не к теще идете! Что жрать-то будете? Ног не притащите!

Ребята сначала удивились этакой прыти всегда покладистого и добродушного старшины, а потом упали на траву и захохотали.

— Ржете? — ворчал он. — Потом «спасибо» скажете.

Но «спасибо» говорить не пришлось. Прав оказался он лишь в одном: ноги, действительно, едва приволокли. За трое суток если по сухарю съели, то это хорошо; в горло ничего не лезло. И патроны все принесли обратно, и гранаты, и всю тушенку. Без единого выстрела сходили и «языка» привели. Но страху, откровенно сказать, натерпелись. Не мы за каждым кустом видели немецкие части и таблички с их наименованием, а казалось, что за нами из-за каждого куста следят немцы. И никакой там тебе романтики, никакой недосытаемости — все до примитива обыденно вокруг: тот же лес, те же птицы. Больше того, мы даже не заметили, как линию фронта перешли.

Целый день шли туда. Потом день сидели в засаде на какой-то проселочной дороге, до звона в ушах вслушиваясь в тишину брянского леса. Наконец, услышали тархатенье брочки. Затрепыхались наши сердчишки: кого же судьба несет нам?.. А судьба подсунула нам ездового — пожилого немца с брюшком. Сопротивляться он и не думал. Он вообще, наверное, ничего не понял: за добрый десяток километров от передовой вдруг какие-то парни в пятнистых халатах налетели, связали, засунули кляп в рот, заставили бежать, покалывая финкой в зад... Бежал до досинения. Потом уж догадались ототкнуть ему рот: пусть, мол, вздохнет, а то еще концы отдаст. Столько переживаний — и все окажется понапрасну.

Немного успокоились сами. Коней стало жаль — не догадались их выпрячь, отвернули с дороги, опрокинули брочку и бросили. Неужели помрут с голоду?

— Поди, хватятся этого борова, начнут искать и наткнутся...

Обратно выходили сутки. Заплутались. Чуть ли не у каждого был компас и чуть ли не каждый компас показывал север в свою, облюбо-

ванную им сторону. И лишь много лет спустя после войны меня вдруг осенила догадка: а не курская ли аномалия действовала?

Сутки потом беспробудно отсыпались от той романтики...

После ходили в глубокий тыл еще раз, еще и еще. Но особенно впечатляющей была многодневная вылазка на Львовщине, когда я находился уже в конном взводе разведки.

Задание получили от штаба армии. Надо было не просто взять «языка», а нанести на карту строящиеся где-то на подступах ко Львову укрепления. Километров на сорок—пятьдесят предполагалось проникнуть в глубь обороны немцев. Как когда-то наши ребята делали проходы во вражеской обороне и проводили по ним диверсионные группы, так на этот раз для нас две стрелковые роты прорывали линию фронта на стыке немецких частей. Отдушину сделали минут на тридцать—сорок. За это время под прикрытием густого тумана мы галопом проскочили в тыл. И пошли от лесочка к лесочку.

Нас было восемнадцать человек с тремя ручными пулеметами — сила не малая.

К концу первого же дня взяли «языка». Но как мы его ни допрашивали, он не сказал об интересующих нас укреплениях: видимо, сам ничего не знал.

Ночь рыскали по дорогам в поисках более языкастого «языка», но безрезультатно: немцы, видать, ночью совсем здесь не ездили. А войти в какое-либо село мы пока не рискнули — это чревато осложнениями: бродячего немца не сразу хватятся, а взятого из избы, даже бесшумно, утром же начнут искать.

На заре, едва мы прикорнули в молодом березняке, дежурный Колька Виноградов разбудил меня.

— Понимаешь, смылся...

— Кто смылся?

— Немец.

Я не сразу понял, о каком немце идет речь, подумал, что вообще враги отступили.

— Понимаешь, привязал его к дереву, чтобы не уполз, а сам пошел на опушку посмотреть что и как. Вернулся, а его — тю-тю...

Тьфу! Не хватало еще, чтобы этот наш «язык» привел сюда своих и застал нас спящими!

— Вот тебе и тю-тю!.. Разинул хлебало-то!..

Может, Колька и не виноват — не было еще такого, чтобы связанный «язык» сбегал; видно, на самом деле, верткий попался.

— Буди всех! Уходить надо в другое место, пока совсем не рассветло.

Метнулись километров на десять в сторону по фронту, на юг. И, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло: угодили как

раз в район строительства этих самых укреплений. Тут лес сплошной, старый. Новых дорог, которых у меня на карте нет, уйма. А по ним, как на проспекте, машины в оба конца непрерывным потоком. Нас сначала даже оторопь взяла: как же тут «языка»-то взять? Потолковали, потолковали, решили устроить засады на двух—трех проселках, где не такое интенсивное движение. Уходящим на эту операцию группам я наказал:

— Ездовых не брать. — Вижу, кое-кто из ребят улыбнулся, ибо всем давно известно, что ездовой — это не «язык». — Постарайтесь мотоциклиста заарканить. Может оказаться связным.

— А если не связной — отпустить?

Кто-то вставил:

— Кольке отдай. Он его привяжет...

Ребята засмеялись, хорошо так, свободно. Даже Николай Виноградов засмеялся, не обиделся. Я облегченно вздохнул: значит, напряжение первого дня прошло.

Теперь каждый стал самим собой. И я тоже почувствовал, как появляется во мне уверенность. Твердость во всем почувствовал — и в голосе, и в движениях, и вообще душа встала на место. Вот теперь-то начинается самое интересное...

И это интересное не заставило себя долго ждать. Часа через два привели мотоциклиста, и именно связного. Не помню теперь, кем он был послан, но вез пакет командиру части, руководившему этим строительством; в приказе, кстати, ему предлагалось ускорить работы ввиду поступивших сведений о скором наступлении русских.

Я расстелил немецкую карту, очень подробную, куда подробнее нашей, и попросил пленного показать место, куда он ехал. Он долго лазил пальцем юго-восточнее Львова, наконец ткнул в кружочек с длинным названием — километрах в тридцати южнее нашего местонахождения. Ничего больше сказать он не мог. Говорит, едет туда впервые, что там делается — не знает.

Пришел помкомвзвод, привел остальные две группы с пустыми руками — не удалось никого взять. Опустился рядом со мной на травку, положил сблезный от длительного пользования автомат. Насупленный. Вижу, что-то хочет сказать.

— Чего?

— Слушай, не нравится что-то мне атмосфера вокруг нас. — Покрутил головой, цикнул уголком губ. — Заглянули сейчас на шоссе и, понимаешь: чем-то обеспокоены немцы, насторожены. Бронетранспортеры патрулируют. Утром этого не было. Уж не нами ли интересуются? Как думаешь, младший лейтенант?

— Вполне возможно, что нами, — как можно равнодушнее ответил я. — А что ты удивляешься?

— Да я не удивляюсь. Только хреново все это... Ну, что-нибудь сказал пленный?

Я подозвал поближе ребят, пересказал содержание захваченного приказа: каждый должен знать все — мало ли что может случиться, еще неизвестно, кто из нас вернется в полк. Командиры отделений отметили на своих картах место строящихся укреплений — тоже неизвестно, какой карте из четырех наших и одной немецкой суждено попасть в штаб армии.

Посоветовались. Решили, что тут мало шансов взять нужного нам «языка», поэтому надо по возможности ближе продвинуться к строящейся линии.

Кто-то из ребят со вздохом сказал:

— Пожрать бы хоть раз за двое суток по-человечески.

— Что значит — «по-человечески»?

— Ну, то есть не по-собачьи, не на ходу, не всухомятку. Тушенку бы разогреть, чайку вскипятить.

Колька Виноградов перевалился на спину, потянулся.

— Блажь все это! Налопаетесь, потом скажете: поспать бы минут шестьсот. Колька, мол, разиня, не дал утром поспать.

Хорошие разговоры! Очень хорошие! Не об опасности говорят, а о еде, о хорошем обеде.

Помкомвзвод распорядился:

— Ладно. Разжигай костры! Только небольшие и чтоб без дыма.

Захрустел в сильных руках валежник, затрещало пламя. Старший сержант лег рядом на мою плащ-палатку. Долго молчал. Знаю, о чем он думает. Я тоже об этом же думаю. Наконец, он кивнул в сторону сидевшего под деревом немца, вопросительно заглянул мне в глаза.

— Ну?

Я развел руками.

— Не таскать же его с собой. И этот может сбежать.

По тому, как сразу на полтона сбавился гомон, понял, что все думают о том же. Старший сержант поднял голову, обвел всех взглядом. Остановился на Виноградове.

— Колька, ты!

Не вынимая рук из-под головы, не переводя задумчивого взгляда с верхушек деревьев и клочка голубого неба, Колька протянул:

— Не-е... У меня сегодня настроение какое-то не такое...

Помкомвзвод ничего не ответил, поднялся сам. Кто-то из ребят тихо сказал, обращаясь к нему:

— Иван, может, покормить его сначала?

Старший сержант, ничего не отвечая, подошел к немцу, махнул рукой.

— Ком!

И повел его в глубь леса.

Никто не повернул головы вслед им. Стало тихо.

Долго не возвращался старший сержант, опытный, выдавший виды разведчик. Мы уже поели, курили не спеша. Молчание прервал Николай Виноградов. Повернулся ко мне.

— Вот и еще одного человека не стало. Развел ты руками — и понеслась душа в рай!.. Я сейчас о доме думал, вспоминал. Весна. Как хорошо, наверное, сейчас там... А он хоть и фашист, а все равно, наверное, дом у него есть, жена, детишки. Ждут его. А мы — р-раз! И на тот свет... А ведь его мать растила, в пеленки кутала, от насморка лечила, думала: краше ее Ганса на свете нет. А ты только пальцем пошевелил — и матери до конца дней своих слезы, и детишкам его на многие годы печаль, и жизнь их без отца повернется совсем по-другому — сиротская жизнь будет.

Я ничего не ответил. А чего тут ответишь?

Пришел помкомвзвод, усталый, осунувшийся. Кто-то из ребят поставил перед ним тушенку в банке, кружку густого парящего чая.

— Пожуй, Иван.

Он посмотрел на все это и вдруг как-то подобрался весь, отвердел.

— Ладно, на ходу поем, по-собачьи. Хотя, к твоему сведению, Витька, собака на ходу никогда не ест, только в укромном месте... Ну что, тронулись? Петро, выдели из своего отделения дозоры. Сам в головной пойдешь.

Ехали осторожно, не приближаясь к дорогам, строго по компасу и карте. Наши с помкомвзводом лошади шли рядом. Иван поковырял, поковырял в банке, тихо сказал:

— Что-то в глотку не лезет! — Выбросил банку в куст, старательно облизал ложку и сунул ее за голенище.

Мой рыжий Мишка беззаботно мотал головой и норовил поиграть с помкомвзводским Гнедком — пытался ущипнуть его за шею. Тот тоже скалил зубы. Бездумные животные, ничегошеньки же они не понимают в человеческой психологии...

За три часа сделали километров пятнадцать. Подходить ближе было рискованно. Расположились на полянке. Старший сержант сразу же забрал полвзвода и пошел к тракту.

Этот день казался бесконечно длинным — столько за день событий! А ведь солнце было еще высоко.

Вдруг на шоссе началась стрельба. Все насторожились, вскочили. Не иначе, машину подбили. Сейчас должно все затихнуть... Но стрельба разгоралась. В общем гвалте отчетливо начали прослушиваться немецкие пулеметы — их скорострельность больше наших, а у автоматов наоборот — наши скорострельнее. Значит, бой завязался. Я послал туда еще пять человек со вторым пулеметом.

Потянулись минуты неведения, длинные и томительные. Пальба нарастала. Наши два пулемета захлебывались длинными очередями. Бой разыгрывался не на шутку. Наконец, прибежал связной, доложил: подбили легковую машину, не успели вытащить барахтающегося в ней офицера, как показался бронетранспортер с солдатами.

— Кольку Виноградова наповал! Помкомвзвода царапнуло в голову! — сообщил он.

— Сейчас же бегом обратно — немедленно всем отходить!

Кони, слыша приближающуюся стрельбу, прядали ушами, беспокойно переступали.

Вскоре появились ребята. Они несли троих убитых и двоих раненых. Старший сержант замыкал цепочку. Над головами уже щелкали пули. Я скомандовал:

— По коням!

Не мешкая, тронулись. По лесу начали рваться снаряды — вразброс, неприцельно. Скакали долго, петляя. Преследования не опасались — в лесу ни бронетранспортер, ни танк не пройдет. А кавалерии у них, конечно, нет. Да и вообще они леса боятся.

Но вот выехали на большой холм, у подножья которого вилась речушка.

— Давайте здесь похороним ребят. На этом вот взгорке.

Я отыскал на карте место — высота 121,6. Застучали лопаты. Разведчики копали попеременно, быстро. Я достал три пулеметных патрона, раскачал зубами, вынул пули и вытряхнул порох. Написал три записки: «Николай Виноградов, 1925 г., разведчик. Погиб 15 апреля 1944 года», «Михаил Варавский, 1920 года, разведчик...», «Иван Самшин, 1923 года...» Вложил их в гильзы, заткнул пулями заостренным концом внутрь. Эти своеобразные жетоны положили в карманы гимнастерок погибших. На дне могилы постелили плащ-палатку, опустили на нее тела, прикрыли другой. По русскому обычаю бросили по горсти земли.

— Прощайте, друзья... Мы не забудем вас...

Ребята стояли молча над раскрытой могилой. Может быть, каждый думал о том, что у этих троих есть матери, которые в пеленки их пеленали, от насморка лечили, кашей кормили, ждали с войны и для которых теперь уже уготованы слезы до конца дней их. А может, вспоминали, как вместе не раз лазили за «языком», пили из одной каски, ели одной ложкой. А может, думал каждый о том, где его самого настигнет смерть, где ему суждено лежать и суждено ли быть вот так заботливо похороненным, — на войне всякое бывает...

— Закапывайте, — распорядился помкомвзвод.

Я снова достал карту и на ней отметил крестиком место могилы. Наверное, карты, подобные моей, не уничтожались в войну. Из штаба армии она, может быть, попала вместе с другими документами по-

сле войны в архив и лежит сейчас где-нибудь в пронумерованной папке.

С наступлением темноты мы снова двинулись к этому же шоссе — контрольный пленный нужен был до зарезу и именно с этого участка. Ведь мы еще почти ничего не знали о самих укреплениях: ни размеры их, ни характер сооружений. Предстояло хоть всем лечь, а сведения добыть! Время работало против нас, приходилось торопиться. Немцам теперь известно, где мы, и они знают, что нам надо. Они наверняка уже досконально обшарили место нашей последней стоянки. И сейчас ждут нас по соседству с этим районом: мы непременно должны появиться. Правильно они думают. Но они думают, что мы не появимся больше на старом месте, — это вполне логичные рассуждения. А вот мы нарушим логику. Вопреки логике, мы именно там и появимся.

К двенадцати часам ночи мы оседлали шоссе между двумя поворотами, выставив с обеих сторон усиленные заслоны. Несколько раз мимо проследовал бронетранспортер — он явно патрулировал этот участок шоссе. Но мы были нахальные ребята. Мы сидели и ждали своего.

И вот он пожаловал, наш долгожданный обер-лейтенант, штабист...

Когда на стрельбу примчался бронетранспортер, мы уже отходили в лес, уводя с собой хо-орошего «языка». Штабные офицеры у разведчиков называются «длинными языками». Этот был для нас особенно «длинным».

Задание выполнено. Теперь главное — не напороться нечаянно на немцев. И мы пошли пеглять по лесу, на этот раз старательно обходя места, где уже были.

В лесу тихо, по-летнему тепло. Все молчали. Только иногда тишину нарушал слабый стон раненого, которого везли на самодельных носилках из молодых березок. У второго раненого была повреждена нога, но он крепился и сам держался в седле. Связанный обер-лейтенант тоже ехал верхом. А лошадь помкомвзвода пришлось бросить — шальная пуля задела заднюю ногу чуть повыше бабки. Помкомвзвод забинтовал своему Гнедку рану, снял седло, узду и пустил в лес. Сам же пересел на лошадь Кольки Виноградова...

Это была моя последняя вылазка в тыл и вообще за «языком». Три дня мы выходили к своим. Потом меня с добытыми документами возили в штаб армии. Вернувшись, я двое суток беспробудно спал.

А еще через день на рекогносцировке местности мы впятером напоролись в тумане на два немецких пулемета.

МИШКА

Мишка — это мой буцефал, рыжий, косматый, с маленькой змеиной головкой. Мишка — трофей. Бывший хозяин наверняка звал его иначе. Но у меня он был Мишкой, откликался на этот зов, слушался. И вообще, любил меня, а я любил его.

Впервые я его увидел под главарем бендеровской банды ранним апрельским утром сорок четвертого года.

Дело было так. Немцы торопливо отступали. Наши полки не успевали их преследовать — грязь была в колено, дороги разбиты, артиллерия застревала надолго. Конному взводу разведки был приказ: висеть на плечах противника и ежедневно коннонарочным сообщать в штаб полка о его продвижении. Направление на Копычинцы — в Тернопольской области, на Украине. Коннонарочных я отправлял ежедневно, а возвращаться они не успевали — просто не в состоянии были догнать нас.

И вот, когда мы почти добрались до самых Копычинцев, на какой-то машине-вездеходе догнал нас связной командира полка с приказом повернуть круто на юг, на город Чертков: полку дали другую задачу, а в связи с этим и другое направление.

Карта, которую я получил в штабе полка, обрывалась Копычинцами, и Чертков нам предстояло разыскивать по расспросам местных жителей. А среди них были и такие, которые относились к нам без горячей симпатии. Так что пока мы выбирались из села, в котором нас догнал связной, все время уточняя у встречных направление на Чертков, наступили сумерки. Неожиданно началась сильная метель. Позднее мы узнали, что даже самые древние из старожилов Западной Украины не помнят таких буранов в апреле. Сырой, липкий снег повалил хлопьями и буквально за несколько минут преобразил окружающую степь, завалил дороги.

Я вел взвод по компасу строго на юг. Надеялся лишь на одно: села здесь расположены густо, на какое-нибудь из них непременно набредем.

Когда уже окончательно стемнело, мы набрали на какой-то хутор (потом узнали — хутор Михайли). В первой хате спросили, нет ли немцев, и, получив отрицательный ответ, поехали дальше — решили не останавливаться с краю, где каждый сразу натыкался на тебя.

Разместились мы в трех избах в самой середине хутора. Измученных коней поставили в теплые дворы, расседлали.

Двое суток кружила метель, не видно было ни зги — за окном бело, как в банке с молоком. Покидать хутор мы не торопились, знали, что ничейная полоса почти не сокращается: наши едва ли продвигаются в такую погоду и, следовательно, не могут напороться на немцев. Да и те наверняка тоже не шевелятся, и нам не грозит потеря их следа.

По-мирному уютно жили мы эти двое суток. Если бы не автоматы, составленные в кучу около дверей, ничто не напоминало бы о войне. Гостеприимные, чистенькие дед с бабкой, чем-то похожие на Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну, — а может, просто мне, еще со школьными представлениями о мире, лишь померещилось это сходство, — потрескивающие в печи дрова, занавески на окнах, гора подушек на кроватях — так быстро мы освоились с этой мирной обстановкой, что буквально на следующее утро уже почувствовали себя «цивильными» людьми...

На третьи сутки рано утром проснулись от ошеломляющей тишины — уже не хлопали и не скрипели ставни, не гудел ветер в трубе. Глянули в окно: белизна аж до рези в глазах. Мы выскочили во двор, стали обтираться снегом, играть в снежки.

Когда бабка начала собирать на стол завтрак, а мы, разгоряченные, взбодренные, вытирались полотенцами, в двери постучали. Вошли двое. У обоих наши, советские автоматы на шее. Один из вошедших в немецкой зеленой шинели, но в русских кирзовых сапогах и в нашей армейской шапке; второй в белом военном полушубке, тоже в кирзовых сапогах и в нашей армейской шапке с красноармейской звездочкой. Все это я схватил взглядом мгновенно. Было в них что-то такое, что сразу же не допускало и мысли о том, что они солдаты Советской Армии. Нет, не немецкая шинель на одном из них — были и в нашей армии любители трофейного барахла. Вероятно, нечто чуждое в манере держаться, налет неуверенности, даже еле уловимой настороженности в выражении лица, глаз заставили меня как командира сразу же насторожиться и спросить, кто они такие.

— Мы партизаны. Наш отряд выходит из тыла и идет на отдых.

У меня с детства особая симпатия к партизанам. Все партизаны для меня — герои. Я рассуждал так: мы воюем, не оглядываясь назад, тыл наш обеспечен. А каково им? Кругом враги!

Видимо, не один я так думал. Мы обрадованно начали приглашать гостей за стол. Дед достал из шкафчика графин спирта — в соседнем селе немцы бросили совершенно исправный спиртзавод с большим запасом изготовленной им продукции. Нам очень хотелось сделать приятное партизанам. Но парни твердо не отходили от двери и не снимали с шеи автоматы. Лишь попросили:

— У вас свежие газеты есть? Дайте, пожалуйста. Мы очень отстали.

Газета недельной давности в наступлении считалась очень свежей.

Пока мы завтракали, они сидели у порога и читали газеты, то и дело поглядывая на нас, иногда бросая взгляд на составленные в углу у двери наши автоматы. Я расспрашивал их, откуда они родом, давно ли в партизанах.

Вдруг они поднялись.

— Вон наш отряд идет! — кивнули за окно и, попрощавшись, быстро вышли.

По улице двигался конный отряд, побольше нашего взвода. Впереди командир на высоком, но коротком вислозадом коне с длинной шеей и маленькой головкой. Я почему-то обратил внимание на этого несколько непривычно голенастого, неуклюжего и косматого коня. В середине колонны двигалась тачанка со станковым пулеметом.

Мы завтракали долго и основательно потому, что обеда у нас не предвиделось и вообще невольно старались продлить заканчивавшееся с наступлением хорошей погоды удовольствие от домашней обстановки. А когда начали седлать коней, в ограду вбежала растрепанная плачущая женщина. Она бросилась к нашему старшине Федосюку, приняв его по дородности за главного начальника.

— Бендеры ограбили! Товаришочки, помогите! Защитите от бендеровцев...

С трудом выяснили: она — поповна, живет с отцом, священником православной церкви, на конце хутора. Проходивший сейчас отряд бендеровцев заехал к ним в дом и забрал все, что только можно увезти, даже корову. Я видел, как у ребят вспыхнули глаза.

За хутором мы увидели ехавших кучками бендеровцев — то ли они на ходу делили добычу, то ли, уверенные в своей безнаказанности, просто разговаривали, но явно не торопились. Гикнули мы на коней, рассыпались цепью, припали к конским гривам — и засвистел ветер в ушах. А сердце! Сердце от восторга готово было вырваться наружу. Первый и единственный раз ходил я в конную атаку. С детских лет по кинофильмам и книгам любил кавалерию, особенно Первую Конную. И, видимо, мальчишество не прошло к тому времени. Да, кажется, не у меня одного. В эту минуту ребята, по многу раз раненные и видевшие уже смерть в глаза, играли в войну, и очень жалели, что не было у нас клинков — не снабдил нас начальник боепитания этим видом оружия, видимо, считая его лишним. А нам очень уж хотелось по-чапаевски помахать шашкой — двадцатилетние лейтенанты порой и на войне оставались мальчишками!

Бендеровцы не ожидали нападения. Они точно знали, сколько нас, знали, что их больше. А тут на тебе — конная атака! Они растерялись и кинулись наутек. Поповская корова была привязана к тачанке и мешала не только стрелять, но и удирать. Наконец, пулеметчик догадался отрезать бечевку. Лошади рванули. Пулеметчик запустил по нам длинную очередь. Но тут левая пристяжная угодила в глубокую яму, присыпанную свежим снегом, завалилась, тачанка передком ткнулась следом за ней. Пулемет с неимоверно задраным стволом превратился чуть ли не в зенитный. Пулеметчик ничего не мог сделать. Он соскочил с тачанки и... в панике заполз под нее.

Не выдержали нервы и у остальных. Оставшись без пулеметного прикрытия, бендеровцы начали останавливать лошадей, бросать оружие и поднимать руки.

Их оказалось двадцать два здоровенных мордатых парня. Полхутора сбежалось смотреть на бандитов — видимо, их тут уже знали, они не раз наведывались сюда.

Завладев трофеями, мы решили заменить часть своих коней. Я, правда, не собирался менять Гнедка, но дед-хозяин, внимательно осматривавший лошадей, подошел ко мне:

— Начальник, бери вот этого. Добрый конь!

И я узнал голенастого, короткого, с вислым задом коня, на котором утром ехал по селу главарь банды. Я подошел к коню поближе. Он прижал уши, и голова его стала еще более похожей на змеиную. Добрая половина пленной банды обернулась и смотрела на меня и на коня. Я понял, что бендеровцы ждут зрелища, что просто так конь мне не дастся, тем более, что наездник я был не первоклассный...

До последнего дня пребывания на фронте я добрым словом вспоминал того деда с хутора Михайли. Коня окрестил Мишкой, кормил его из собственных рук, чистил — в банде, наверное, его ни разу не почистили, а ему, оказывается, очень нравилась эта процедура.

На фронте не только люди быстро знакомятся, но, видимо, и животные привыкают к людям быстрее, чем в обычных условиях. А может, это просто так кажется. Во всяком случае, мы очень быстро подружились с Мишкой. Я потакал ему в его слабостях: он любил сахар и терпеть не мог, когда его привязывали — до тех пор будет натягивать повод, даже на костец сядет, пока не порвет. Оторвется и тут же будет стоять, шага не ойдет. Когда я это понял, то не стал его привязывать. За доверие Мишка платил по-своему — ни разу не ушел с места, на котором я его оставил.

Бегал Мишка быстрее всех лошадей в полку — я неоднократно участвовал в состязаниях и всегда выходил победителем. О его резвости и в то же время внешней неказистости дошел слух до командира дивизии полковника Охмана. Говорили, что Охман — калмык, знает толк в лошадях. И когда однажды он увидел меня на моем Мишке, то остановился, удивленно уставился на Мишку, поманил пальцем. Я подскочил, доложил, как положено, что командир конного взвода разведки такого-то полка прибыл по приказанию... А он не слушал меня, смотрел на Мишку, смотрел и качал головой.

— Ну и ну... — И снова качал головой. — А ну, дай пробежку...

Мне, конечно, хотелось блеснуть всеми статьями моего любимца, но я понимал, чем это может кончиться: просто-напросто заберут его у меня и все, заберут, если он понравится. А не понравится понимающему человеку он не мог. Когда Мишка бежал, он преображался,

совершенно исчезала его неуклюжесть, он не казался таким коротким и высоким. Он становился красавцем, и это, видимо, не мне одному казалось. Поэтому, когда я после пробежки снова подъехал к полковнику, он с еще большим удивлением и любопытством смотрел на Мишку. Потом глянул на меня. Человек, любящий лошадей, конечно, не мог не уважать это самое чувство в других. А он с первого взгляда понял, что я люблю Мишку. Улыбнулся, сказал:

— Ну так что, разведчик, махнем? — И подмигнул кому-то из своей свиты.

— Ваш конь лучше, товарищ полковник, — промямлил я, холодея.

— А я не на своего. Вот на любого из этих, — указал он назад.

Две трети свиты составляли связные полков, спецподразделений, штабные работники — словом, те, кому по должности не положено иметь коня лучше комдивовского. И так мне стало жалко своего Мишку, так защемило сердце, что я на какое-то мгновение ему позавидовал: хорошо, мол, тебе — ты, скотина, и понятия не имеешь о военной субординации!.. И я взмолился:

— Товарищ полковник, в бою добыл коня... жизнь спас он мне... — Не соврал, а, как говорят в армии, «нашелся» я. — У вас же конь добрый...

Видимо, жаль стало полковнику меня, а может, просто не захотел портить настроение своему же разведчику — на войне и так не мед. Только ничего больше не сказал, тронул шпорами своего полукровного донца и поехал дальше. Я остался на обочине дороги, не зная, радоваться или досадовать. Кто-то из замыкающих в свите в накинутой на плечи плащ-палатке, проезжая мимо, дружески сказал:

— Повезло тебе, парень. Запросто мог лишиться коня... По лошадиной части полковник дока.

А меня грызло другое: а вдруг спросил бы комдив, как спас конь мне жизнь? Что бы я ответил?

Сейчас могу с чистой совестью сказать, что потом действительно Мишка спас мне жизнь. Буквально через несколько дней после встречи с командиром дивизии мы впятером напоролись на немецкие самоходки, замаскированные на опушке леса. Обнаружили мы их прямо-таки в сотне метров. После этого только резвость коней могла спасти нас. С полдюжины снарядов выпустила по нам одна из самоходных пушек. Но не успела пристреляться (а пулеметов, наверное, не было). Мгновенно вынес меня Мишка за бугор — из зоны прицельного обстрела.

Но не это вспоминается мне чаще всего в долгие послевоенные годы. Вспоминается один очень неприятный, а точнее сказать, постыдный для меня эпизод. Этот эпизод не записан в дневнике — не было надобности в этом, он запомнился и без того на всю жизнь.

Теперь уж не помню, откуда и куда я ехал в то утро. Но помню,

что дорога тянулась около озера и была пустынна. Вдруг откуда-то вывернулся «мессершмитт», и тут же донеслась пулеметная трескотня. Я сначала не обратил на это особого внимания. Но когда после второго захода возле меня зацокали пули, я понял, что летчик охотится за мной — не иначе, как принял за курьера с пакетом. Я насторожился. И едва лишь «мессер» начал снова разворачиваться над дальним леском, не стал испытывать судьбу: соскочил с седла и кинулся к берегу под огромную корягу. Только-только успел я нырнуть под разлапистые корневища, как по озерной глади рядом прошла очередь, потом пули зачвыкали по песку, взбивая маленькие фонтанчики. Коряга, может, не такое уж и надежное укрытие от пулемета, но все-таки успокаивала. Через полминуты снова вой пикирующего истребителя, татаканье пулемета. И вдруг слышу — кто-то несется в мою сторону. Значит, не по одному мне палит немец.

Топот прекратился, и вижу перед своим укрытием ноги Мишки. Высунулся — а Мишка наклонил голову и заглядывает под навес корневищ. И показалось мне, что в глазах его столько упрека и жалости, сколько, наверное, не всегда бывает в человеческом взгляде. Почудилось, что Мишка хочет сказать: «Разве поступают так друзья? Я животное, но ты-то человек!..»

Мне захотелось заплакать — все-таки недалеко мы в то время отошли от мальчишек, а все мальчишки дружат с животными на равных. Я вылез из укрытия, обнял Мишку за шею. И побрели мы с ним по берегу — я виновато, а он обрадованно и доверчиво...

Запомнилось мне расставание с Мишкой.

Недели две спустя после этого эпизода командир нашего полка подполковник Пономарев прислал своего ординарца с приказом забрать коня. Комполка не был любителем лошадей, и мой Мишка ему наверняка понадобился только для того, чтобы похвастать в штадиве, удивить людей. Я очень хорошо знал своего командира полка: спорить с ним, пытаться что-то доказать или в чем-то убедить было бесполезно...

Мишку повели без седла, голенастого, косматого, неохотно подволакивающего сухие задние ноги. В чужих руках он показался мне зашпанным, неприбранным долговязым подростком. Заглядывался и забеспокоился он уже далеко, когда понял, что его уводят от меня, — во взводе Мишка был общительным, его со всеми вместе дневальный водил на водопой, и он к тому привык. В конце улицы закрутился, начал вырываться.

Дальше я не стал смотреть, ушел в дом, лег на солому на пол и приказал себе заснуть — ночью предстояла вылазка за «языком», надо было отдохнуть. Война-то продолжалась...

Мишка прибежал вечером с оборванным поводом и заржал. Весь взвод выскочил из избы. Обступили его. Кто совал кусок хлеба, кто





Электронная библиотека
elib.aifib.ru

сахар — Мишка оказался героем дня. Не вышел только я: у меня просто не было сил еще раз посмотреть, как его поведут.

Втайне я лелеял маленькую надежду: мне думалось, что за Мишку (а точнее, за меня) сможет заступиться начальник разведки полка капитан Колыгин. Но надежде моей не суждено было осуществиться. Через несколько дней вместе с Колыгиным я был тяжело ранен.

С передовой везли меня на повозке мимо штаба. Я лежал на соломенной подстилке и смотрел в яркое весеннее небо. Я чувствовал, что уже отвоевался, что мой путь теперь лежит домой, попрощался с ребятами, с которыми прошел под пулями не одну сотню километров. Старшина Федосюк принес мои документы, вещмешок. Спросил:

— Мишку тебе привести?

Я потерял много крови и находился в состоянии такого полубезразличья, поэтому отрицательно качнул головой — дескать, не до сантиментальностей мне, — и мы поехали в госпиталь.

Вдогонку донеслось тревожное ржание — неужели Мишка меня почуял? Нет, не может быть, показалось. Галлюцинация слуха!

Но уходят годы, и мне все больше кажется, что это был именно Мишка. И порой становится неимоверно жалко, что не попрощался я тогда с ним...

В. КИРЯСОВ



ХЛЕБОРОБ

МИХАИЛ ГОЛИКОВ

ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ ПОСТОЯННЫМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ МЕХАНИЗАТОРОВ, ЖИВОТНОВОДОВ, БРИГАДИРОВ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОВЫШАТЬ ИХ КВАЛИФИКАЦИЮ, УЛУЧШАТЬ УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Из Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы.

Осень вершит труд земледельца.

В совхоз «Чумышский» я попал в то время, когда там разгоралась жатва — решающая битва за хлеб.

Чумышцы наметили получить зерна не менее шестнадцати центнеров с гектара, продать государству 130 тысяч центнеров. Задача не из легких, даже когда урожай выращен отменный: ведь его еще надо убрать в срок и без потерь. В условиях капризной осени восточной зоны края это трудная задача.

— Основная наша ставка, как всегда, люди, — сказал директор совхоза В. Г. Ботов. — Среди наших механизаторов есть очень надежные. Они и поведут за собой остальных.

— А кого можно выделить особо?

— Голикова! Он хлебороб в полном смысле слова. С какой стороны ни возьми. Хоть с производственной, хоть с политической или морально-этической. Вот о нем бы и написать!

В жизни часто бывает: живет человек заведенным порядком и даже не задумывается над тем, хорош он, этот его порядок, или плох. На работе все ладится, в других делах тоже. И вдруг порой совсем незначительный случай выбивает человека из привычной колеи и будит подсознательные, неожиданные, доселе дремавшие мысли и силы. Так случилось и с Михаилом Голиковым.

Вместе со старым опытным механизатором В. Т. Дружининым готовил он под посев поле. Так хотелось ему, более молодому, обогнать соседа, показать высокую выработку, да и заработать побольше. Вдруг видит: остановился трактор Дружинина. Вылез тот из кабины, начал в моторе копать. А потом направился к нему.

— Михаил, нет ли у тебя в зачке свечи запальной?

— Каюсь, — вспоминает теперь Голиков, — была свеча, а я не стал искать, ответил, нету вроде. Думаю, пока он стоит, я десяток гектаров сделаю. Но не прошло и десяти минут, как у моего трактора полетел подшипник. И первым пришел на помощь мой сосед: у него в запасе оказалась такая деталь. Тогда и я, не глядя ему в глаза, отдал свечу и что-то пролепетал в оправдание. С того момента и одолели меня думы...

И прежде всего вспомнились Михаилу Голикову первые годы его работы. Был он насквозь городским парнем, когда в 1953 году вместе с родителями, затосковавшими по родным деревенским местам, приехал в Кытманово. Родители еще в двадцатых годах снялись с земли и подались в индустриальный Кузбасс. Там у них и дети все родились и выросли.

Да, видно, крепкой оказалась у отца и у матери крестьянская жилка: обжились в городе, стали рабочим классом, а детям все о чудесной реке Чумыше да о степном приволье Причумышья рассказывали. О крестьянском труде вспоминали с сожалением. Будоражили воображение эти рассказы, манили не виданные никогда полевые дали, овеянная особой крестьянской романтикой неизвестная работа.

Михаил, уже отслуживший к тому времени положенный срок в армии, и три его брата охотно согласились переехать с родителями в село, когда те в конце концов приняли такое решение.

Только Михаил вскоре уехал обратно в Киселевск. Встреча с землей, с крестьянской работой, о которой втайне мечталось, обернулась неожиданным и неприятным столкновением с худшей стороной действительности. В городе все было ясно и просто. Он слесарь, его знают и ценят. Отработал смену и будь спокоен.

А тут, в МТС, безо всякой выучки подвели его к хмурому трактористу и сказали:

— Вот твой старший сменщик. Если чего не знаешь — подучишься у него.

А трактор — вконец разбитый НАТИ. Тот, старший, еще как-то умудрялся на нем работать. Голиков больше стоял.

Пробовал обращаться к напарнику за помощью, но тот только огрызался:

— Да иди ты...

Вот и не выдержал Голиков, сбежал.

Живет в городе, а из Кытманово письма идут. «Сынок, тут такое начинается! Новые земли распахать будут, технику всякую присылают. Небось, читаешь об этом в газетах. А про тебя все бригадные спрашивают, чего он, мол, уехал-то? Пусть возвращается, люди нужны».

И охватило его беспокойство. Честно говоря, он побаивался возвращаться. Вдруг опять такая же история выйдет? Но хотелось. Вспоминалась уютная полянка в Сухом Логу, где был разбит полевой стан бригады, чернеющие поля, марево у горизонта, беспечный трезвон жаворонков. Понял он и то, насколько важен и ответственный труд хлебороба. И что-то уже было заронено в его душу такое, что не хотело больше заглухнуть и не давало покоя. А еще тревожило самолюбие: он вот не смог, а братья работают на тракторах.

И он поехал. Шел первый год целинной эпопеи.

На этот раз ему повезло. Повезло в главном: он встретил человека, которому будет благодарен до конца жизни. В МТС по комсомольским путевкам приехали четыре целинника, демобилизованные моряки-тихоокеанцы. Один из них, Петро Гарбер, стал старшим сменщиком Голикова. По возрасту они были почти ровесники. Но Гарбер до флота прошел хорошую механизаторскую школу. Им дали ДТ-54, правда, не новый, но работать на нем было можно.

Благодаря веселому и покладистому украинцу Михаил узнал по-настоящему, что такое доброжелательность опытного по отношению к начинающему, что такое товарищество и взаимовыручка, что такое честное отношение к земле.

Давно уже где-то на родной Украине живет Петро Гарбер, давно прервалась между ними связь, и Голиков не знает его адреса, не знает, где и как он теперь работает. Но до сих пор помнит советы и поучения своего первого наставника.

— На Ивана Анучина не гляди. Рвач! Замечаешь, работает с лещом, это нетрудно определить. А смена кончилась — глядишь, у него две нормы. Контроль у нас слаб, а совести, чести хлеборобской у плуга нет. Ведь плуг цепляет за одну серьгу, по ходу трактора он раз-



Электронная библиотека АКУНЬ, elib.akulib.ru

ворачивается почти поперек, захват получается большой. Почва сверху на вид рыхлая, а пахота — преступный брак. Ну, ничего, доберемся до него, поймаем с поличным...

— А этот вообще хулиган. Сядет за рычаги и крутит трактор на месте. Лихач выискался! А через день—другой смотришь — ходовая часть из строя вышла. Временный у земли человек, она таких не любит.

И еще:

— Будь всегда честным с землей, Миша!

Вот что вспомнил прежде всего Михаил Голиков, когда сосед его по загонке Василий Тимофеевич Дружинин, принимая свечу, понимающе и немного грустно посмотрел на потупившегося тракториста.

Честная и совестливая натура Голикова долго не могла после этого случая прийти в равновесие. Вспоминают, что ходил он угрюмый, в разговоры не вступал, на шутки не отзывался.

— И вот однажды встретились мы, — рассказывает Л. А. Катков, тогда главный агроном совхоза, — разговорились. У него и прорвалось. Я его не сразу понял, хотя внимательно слушал и поддакивал. Да, говорю, долго мы не верили, что из тебя толк выйдет. Рады, что ошиблись. Конечно, говорю, без помощи товарищей ты вряд ли стал бы классным механизатором. Правда, упорства у тебя хватит на троих. На занятиях по агротехнике не было прилежней тебя слушателя. Сейчас я бы смело дал тебе звание младшего агронома. Но к чему ты клонишь?

— Понимаешь, — отвечает, — это что же у нас в бригаде, да и в отделении, и в совхозе творится с молодежью? Вот мне повезло, выучили, поддержали в трудную минуту. А к нынешним молодым как мы относимся? Он простаивает, мучается, а мы смеемся. Дело? Нет! Люди не вечные, надо надежную смену иметь. Чтобы земля всегда чувствовала к себе ровную и надежную любовь. Нас этому учили в борозде, мы тоже должны это делать. Давайте мне любого, пусть самого трудного парня. Буду с ним работать, передам ему все, что знаю и умею сам.

Вот так и родилось движение, ставшее известным на Алтае как шефство, наставничество опытных над молодыми.

Первый воспитанник Голикова и в самом деле оказался трудным парнем. Валерий Бутцев рос сиротой. Перед уходом на службу закончил курсы трактористов, немного успел поработать и прослыть к тому же озорником, непослушным и дерзким. Ему, как сироте, многое прощалось. Думали, что из армии вернется более серьезным, повзрослевшим.

Так оно и было на первый взгляд. Демобилизованный браваый сержант, явившись в совхозную контору, попросился в прежнюю бригаду.

— Ну как? — спросили у Голикова. — Этого возьмешь под свою опеку?

— Пойдет.

Все шло хорошо. Бывало, закончит Михаил смену, пора бы домой, а он еще часа два с Бутцевым провозится. Парень с ходу постигал механизаторскую науку. Через некоторое время он уже выполнял и перевыполнял сменные нормы при хорошем качестве работы. И все чаще слышал от Голикова, когда по привычке обращался к нему за советом:

— А ты сам, Валера, подумай, пораскинь мозгами. Ты сможешь!

И на самом деле, у него получалось. Уже создавалось впечатление, что больше ему у Голикова перенимать нечего. Но это было не так. Однажды, уже на другой год совместной работы, подговорили Бутцева выпить прямо на работе. Он не удержался. Голиков, отработавший ночную смену, был дома, когда ему сказали об этом. Немедленно зашпешил назад в поле. Нашел агрегат, остановил. На скулах у него ходили желваки.

— А ну вылазь!

Бутцев открыл было рот, чтобы оправдаться, но Голиков не дал ему говорить.

— Вылазь, говорю! Иди проспись. Потом потолкуем!

Сел за рычаги и отработал вторую смену.

С Валерием встретился на другой день.

— Михаил Федорович, простите, — услышал от понурого Бутцева, — в первый и последний раз.

Голиков видел, что парень легко и прочно перенимает опыт, мастерство, но ему не хватает постоянства, крепкой привязанности к земле. Вскоре в этом убедились все. Кто-то в шутку, а может быть, из злорадства, зная, что Бутцев самолюбив, назвал его подшефным. Валерий обиделся. Это заметили, и хорошее по смыслу слово стало прозвищем. Голиков недоумевал, а Бутцева словно подменили. Стал груб, раздражителен. Повздорил по пустяку с бригадиром, зло крикнул:

— Уйду!

Держать не стали. Но Голиков переживал и думал: «Видно, в каждого хлеборобскую душу не вложишь».

Бутцев устроился в дорожное управление. Работал там, а свободное время проводил в бригаде. Придет и сидит. Потом появился у директора совхоза:

— Примите назад.

— Мест свободных нет. Впрочем, как бригада. Примут ли там беглеца, дезертира? Просись у них. У Михаила Федоровича просись.

История с Бутцевым закончилась все же не так, как хотелось бы.

После возвращения он работал отменно. Но недолго. Попросился на курсы шоферов и сейчас водит совхозную трехтонку. Что ж, хорошо, что нашел дело по душе. И думается, уроки Голикова не прошли для него даром.

Не прошел бесследно первый опыт и для Голикова. С тех пор у него было еще несколько подшефных. Геннадий Маханьков попал в бригаду после окончания средней школы, знал только практическую езду. А через два года ушел в армию классным механизатором. Вячеслав Оплеухин, по молодости попавший в нехорошую историю, отсидев срок, долго не мог нигде пристроиться на работу, пока судьба не свела его с Голиковым. Сейчас тоже служит в армии. Виктор Минин, самый «мозговитый», как считает Голиков, был избран секретарем общесовхозной комсомольской организации. Но теперь опять вернулся на технику, принял комбайн, убирает хлеб.

— Буду снова над ним шефствовать, — говорит Михаил Федорович, — пока первый класс не получит. Из него добрый хлебороб должен выйти.

Да, теперь-то уже все заметили, что не только опыт, мастерство, знания старается передать подшефным Михаил Голиков. Он ставит перед собой задачу посложней: воспитать хозяина земли, преданного и трудолюбивого, подготовить надежную смену. В этом главный смысл начатого им движения. И очень отраднo, что это начали понимать многие. Например, произошел такой курьезный случай. От Топчихинского района запросили механизатора для участия в краевом конкурсе молодых пахарей. Ни одно хозяйство района не смогло назвать подходящего кандидата. Не из кого было выбирать. На технике только люди среднего да пожилого возраста. Потом вспомнили в одном колхозе, что у них уже несколько месяцев работает на разных работах выпускник сельского профтехучилища Анатолий Милованов. Трактор ему доверить не решались. «Пошлем его, — решили, — все не баранку запишут».

Анатолий занял первое место на краевом конкурсе и четвертое на республиканском.

— Его бы к Голикову, он бы такого не просмотрел, сделал из него человека, — сказал кто-то по этому поводу.

Думаю, что такие слова, если бы их слышал Голиков, были бы восприняты им как высшая похвала. Да, Михаил Федорович не прошел бы мимо такого парня. Он ведь даже ребят, казалось бы, безнадежных на первый взгляд для хлеборобского дела, выводит в люди. Поэтому именно ему как члену парткома совхоза поручили вести работу по шефству опытных над молодыми. Движение переросло рамки полеводческих бригад. В Кытманово над своими молодыми коллегами шефствуют и учителя, и животноводы, и ремонтники, и врачи. Движение получило общественное, даже государственное значение.

Сейчас в крае среди механизаторов нет человека, который не знает бы о почине Голикова. По статистике в крае насчитывается более трех тысяч пар шефов и подшефных. Только не всем пока удастся осуществлять это шефство в том качестве, как это делает Голиков.

Благородно стремление воспитать хлебороба, оставить после себя достойную смену. Оно продиктовано чувством настоящего хозяина земли. Вот еще случай, рассказанный самим Михаилом:

— Пахали мы одно поле четырьмя тракторами. Смотрю, подъехала легковушка, вылез из нее главный агроном райсельхозуправления. Начал глубину мерить. Работу всех агрегатов проверил. И ко мне идет.

— Как фамилия?

— Голиков.

— Так. А рядом?

— Голиков.

— А того?

— Тоже Голиков.

— А тот, дальний, кто?

— И он Голиков.

Агроном сделал дикие глаза, метнулся в машину и уехал в бригаду.

— Что там у вас за пересмешник завелся? — кричит. — Наказать его надо!

— Где?

— Вон на том поле!

— Где братья Голиковы пахут?..

Михаил смеялся от души, вспоминая это. Но в рассказе, в самом его тоне чувствовалась еще и гордость. Это было, может быть, лучшее для него время, когда рядом, на одной земле, трудились сразу четыре брата Голиковых. Сейчас он в совхозе остался один. И наверное, поэтому все чаще в разговорах заводит речь о детях:

— Не знаю, пойдут ли сыновья по хлеборобской линии. Старший, пятиклассник, бредит техникой. Из пластилина даже трактора и комбайны лепит.

Ему, настоящему патриоту земли, очень хочется воспитать хлебороба, который любил бы землю, как он и его товарищи по бригаде, заботился бы о ней так же умело и надежно.

Что такое любить землю? Когда я спросил об этом Михаила Голикова, он заговорил не о красоте вспаханного поля и не о ясном росном утре в созревающем пшеничном массиве, хотя в общем-то понимание этой красоты есть одно из проявлений любви к земле. Голиков стал говорить о сугубо практических вещах. Вот, сказал он, допустим, идет август и я выехал пахать зябь на четвертом поле нашей бригады. Шестнадцать лет я знаю это поле. Знаю, когда и как его пахали, что сеяли,

сколько получали, много ли на нем сорняков, что больше всего нужно этому полю, этой земле, чтобы ее плодородие проявило себя на полную мощь...

Мне кажется, это и есть высшее проявление любви к земле. Ведь мать тоже не рассыпается в заверениях о своей любви к детям, а без всяких клятв и заверений растит их совершенными, полезными людьми.

В совхозе мне дали справку о выработке Голикова. При плане в среднем 750—820 гектаров мягкой пахоты она составила: в 1966 году — 1140 гектаров, 1967 — 1100, 1968 — 1180, 1969 — 1250, в 1970 году — 1030 гектаров. За это время сэкономлено 18 центнеров горючего.

Комментируя эти показатели, директор совхоза В. Г. Ботов говорил:

— У Голикова никогда не было сверхрекордов, у него всегда на первом плане качество. Но я не знаю смены, когда он не выполнил бы нормы. Не было дня, чтобы он беспричинно не вышел на работу. Кроме того, он настолько скромен и исполнительен, что никогда не отказывается ни от какой работы. Для него не существует выгодной или невыгодной работы. Надо опаживать полосы — никто не хочет ехать: ведь там ни зарплата, ни выработки. Голиков всегда поедет, он знает, что это очень нужно. Кого в бурю за почтой послать? Голикова. Корм кому возить? Голикову. Надо сказать, мы иногда даже злоупотребляем этой безотказностью. Но что поделаешь? Где Голиков, там порядок, и душа не болит о порученном.

Скромен и исполнительен. Это так. Иногда его и не просят, а он делает.

— Как-то приехал в бригаду, — вспоминает Л. А. Катков, — смотрю, никого нет. И только один трактор на пахоте. Подхожу — Голиков.

— Где остальные?

— Управляющий разрешил сено возить. Вот и уехали.

— А ты что же?

— Успею. Сейчас надо зябь пахать, сроки уходят...

А еще вам расскажут десятки случаев, когда этот застенчивый на вид человек проявлял исключительно твердую непримиримость и принципиальность, если дело касалось интересов земли.

Однажды районный агроном упрекнул его в том, что он якобы не на ту глубину пашет.

— А вы откуда знаете, под какую культуру я готовлю поле и какая тут нужна глубина? — отрезал Голиков.

Незадачливому агроному ничего не оставалось делать, как повернуться и уехать.

Для Голикова главный авторитет — земля. Нынешний бригадир А. В. Музюкин рассказывает:

— Отдал я весной распоряжение дисковать почву. Голиков увидел работу агрегатов — и ко мне.

— Отмени приказание. Не дело получается! Если дисковать, то надо следом боронить. А так один вред, всю влагу упустим.

Заспорили, дело дошло до главного агронома. Он встал на сторону Голикова.

Тогда же другое было. Начали сеять, а тут сорняки полезли. Михаил не успокоился, пока не прекратили сев и не провели обработку.

Голикову до всего дело. Кто поднял вопрос о сорняках вдоль дорог? Он. Кто надоумил дирекцию жестко поставить вопрос перед лесоводами и хлебоприемным пунктом?

Первые развели сорняки в лесополосах, а вторые повадились выбрасывать отходы от очистки зерна на совхозные поля. А в отходах полно сорных семян.

Леонид Александрович Катков, заслуженный агроном республики, депутат российского парламента, до недавнего времени бывший главным агрономом совхоза, а теперь треста, знает Голикова, наверное, лучше всех, с кем мне пришлось о нем беседовать.

Это он сказал о Голикове слова, которые характеризуют его наиболее точно:

— Он и до того, как стать известным, был хорошим парнем. А теперь стал еще лучше. Потому что правильно понял события, зачинателем которых стал.

Тут нет парадокса. Не секрет, многих слава, даже небольшая, внимание к их персонам, портят. Голиков воспринял свою известность правильно: надо работать еще больше и лучше, быть образцом хлебороба.

С Леонидом Александровичем мы говорили и о том, кого же в наши дни можно причислить к когорте хлеборобов.

— Разумеется, агронома, — сказал Катков. — Полеводческий бригадир — тоже хлебороб, от него многое зависит. Ну, а главная фигура все-таки механизатор.

И помолчав, добазил:

— Эх, побольше бы таких, как Голиков! Чудеса можно было бы творить на земле!

Перед отъездом из совхоза мы были с Голиковым в поле. Пригнулась тяжелыми колосьями к земле рожь. Ее уже начали косить. Ждала своего часа пшеница, тоже рослая, с литым полновесным зерном. По мнению знатоков, на полях тринадцатой бригады созрел лучший в совхозе и районе урожай.

— Ну, с обеда я на пахоту, — сказал, глядя на живое море хлебов, Голиков, — пора зябь готовить под новый урожай. Время торопит.

Прощаясь, я крепко пожал его пахнущую хлебом руку. И мне хотелось в тот миг, чтобы на земле работали только хлеборобы, подобные Голикову.

Снова весна. Для Михаила Голикова она особенная. Он был участником великого исторического события — делегатом XXIV съезда нашей партии. Там, в Москве, ему были вручены Золотая Звезда Героя Социалистического Труда и орден Ленина. Как ни заслужены эти награды, а Михаил подумал: это аванс под всю последующую трудовую жизнь.

Только так и может понимать свою славу настоящий коммунист, хозяин земли.

Ах, ЭТА ГЕНКА!

ПЬЕСА В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ, ПЯТИ КАРТИНАХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Евгения, она же Генка	Степан
Бушуев Антон Петрович, ее отец	Тамара
Марат	Иван
	Буфетчица

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Евгения на авансцене.

Евгения. Ах, эта Генка!.. Вы, конечно, уверены, что здесь вкралась опечатка. Вы ожидаете увидеть очень современного, не скажу дышащего — пышущего интеллектом парня. Скорее всего, физика, принца-физика, как их теперь называют. Или, может быть, принца-генетика... Должна вас тотально разочаровать. Дело в том, или, точнее, беда в том, или, еще точнее, — вся беда в том, что Генка — это всего-навсего я.

Видите, тут как получилось... Отец тоже все ждал парня и заготовил ему имя Геннадий. Поэтому я, хотя и Евгения, в миру Генка.

Можете меня так и звать. Не все, конечно. Некоторым я могу сказать, как один поэт: «Я человек простой. Зовите меня, пожалуйста, просто — Евгения Антоновна».

История, рассказанная здесь — моя история. Не знаю, будет ли она вам интересна, но... Впрочем, я заболталась. Пора давать занавес.

Однако вы не случайте. Мы сейчас увидимся. И я буду не одна.

Со мной будут очень забавные и хорошие люди. Почти все хорошие. Ведь хороших людей большинство. Правда?

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Буфет при рабочей столовой. Буфетчица подходит к дверям с табличкой «Закр-то» в руке. Появляется Степан.

Буфетчица (*указывая на табличку*). Не видите?

Степан. Как же я могу не видеть?

Буфетчица. Тогда делайте вывод.

Степан (*не сразу*). Освободить помещение?

Буфетчица. А вы смекалистый.

Степан. Я... это...

Буфетчица. Все вы это... (*Прикрепляет табличку.*) Теперь виднее.

Степан. Приобрело официальную силу. (*Помолчав.*) Тетя Лена...

Буфетчица. Еще один племянничек! Что-то я тебя не припоминаю.

Степан. Всех не упомнишь.

Буфетчица. На память не жалуюсь.

Степан. Да я здесь первый раз, тетя Лена.

Буфетчица. Откуда же про меня знаешь?

Степан. Евгения Антоновна говорила.

Буфетчица. Это еще какая Евгения Антоновна?

Степан. Такая. Бушуева.

Буфетчица. Бушуева? Генка?

Степан. Это уж как для кого.

Буфетчица. Так бы сразу и говорил.

Степан. Да как же сразу-то скажешь? Сразу-то я на вопросы отвечал.

Буфетчица. Ох, гляжу я на тебя... Или уж шибко прост, или... Чего тебе надо-то?

Степан. Посидеть.

Буфетчица. Выпить, что ли, хочешь?

Степан. Нельзя мне.

Буфетчица. Почему?

Степан. По здоровью.

Буфетчица (*оглядывая его*). Чем же это ты болен-то?

Степан. Спортсмен я.

Буфетчица. Ну, а чего ж тебе тогда? Покушать, что ли?

Степан. Спасибо, сыт. Посидеть можно?

Буфетчица. Какая тебе радость со мной сидеть? Тебе с молодой девушкой сидеть надо.

Степан. Так она придет.

Буфетчица. Кто еще придет?

Степан. А Евгения Антоновна.

Буфетчица. Ах, вот оно что! Чего ж ты мне голову морочишь?.. Ох, я гляжу, хитрец ты... Ну, Генка тебе, как это у вас говорят, жизни даст.

Степан. А вы ее давно знаете?

Буфетчица. Ее-то? Вот такую знала. Да я и мать ее знала. А Антона-то Петровича...

Степан. Это что, отец Евгении Антоновны?

Буфетчица. А ты его не знаешь?

Степан. Нет.

Буфетчица. Антона Петровича Бушуева не знаешь?

Степан. Нет.

Буфетчица. Ты не здешний, что ли?

Степан. Приезжий я, из села. А кто он, Антон Петрович? Поди, инженер?

Буфетчица. Повыше будет!

Степан. Начальник цеха?

Буфетчица. Повыше.

Степан. Отдела какого?

Буфетчица. Выше!

Степан. Неужто директор?

Буфетчица. Выше!

Степан. А... его величество рабочий класс?

Буфетчица. Догадался. Все не оттуда начинают. (Пауза.) Он и депутатом был, Бушуев этот, Антон Петрович. Всю жизнь мне когда-то повернул.

Степан. Как это?

Буфетчица. Долго рассказывать.

Степан. А вы между делом.

Буфетчица. Разве что... В конце войны это было. Людей везде нехватка. А я на мебельной табельщицей работала. Фабрика малюсенькая — одно название. И заведующий пьянчужка, да еще к нашему полу неравнодушен, и на руку нечист. Вот мы его и разоблачили. И что вы думаете — призывают меня, будешь, говорят, заведующей. А мне-то всего двадцать, да и то неполных. Я — в слезы. Нет, будешь — и точка.

Степан. Это кто же — Бушуев выдвигал?

Буфетчица. Да нет. Про Бушуева после. Ладно. Работаю я этак с полгода, объявили нам: будет совещание у депутата. Всех, значит, руководителей созывают, какие выпускают ширпотреб. Вот депутатом-то и был Бушуев. А он что сделал? Поехал по магазинам, ларькам. Видит — табуретка никудышная: еще не сел, уже скрипит. Он: «Сколько за нее?». Покупает. Ведро кривое — берет. Лопата уродливая — берет. Сходимся

мы все к нему. Всякими бумажками запаслись. Выполнение плана по валу и ассортименту, себестоимость, производительность, лучшие люди. Заходим, а тут, можно сказать, целая выставка. Антон Петрович: садитесь, мол. Совещание считаю открытым. Прошелся этак по кабинету. Как сейчас помню, берет в руки лейку какую-то, нос у нее изогнутый, вот-вот отвалится. А уж покрашена в такой цвет, что любая овощь от этого цвета завянет. Чья, спрашивает, красавица? Встает начальник цеха с механического завода. У нас, говорит, производят. Бушуев ему: «Возьмите на добрую память. С вас шесть рублей двадцать копеек». Дальше: «Ведро чье?», «Стул чей?», «Щетка...» Раздал все. Разрешите, говорит, совещание считать закрытым. Через месяц снова проеду по магазинам. Тогда буду делать выводы.

Степан. А здорово это он! И что же через месяц?

Буфетчица. А я не знаю. Пришла домой, думаю: что же это мы для людей-то? Людям-то что даем? Посмотрела — дома-то у меня, как ни бедно, а ничего ведь с нашей фабрики нету, опричь того, что я от Антона Петровича принесла. Уродцев, думаю, мы производим. А как все наладить — откуда я знаю? И в дереве в этом ничего не смыслю, и в технологии — слово-то это в те же дни узнала. Утром пошла я не на фабрику — к Антону Петровичу пошла. Рассказала ему все. Сначала торопилась, волновалась, а потом успокоилась. Он слушает, не перебивает. Кончила я, он говорит: «Молодая ты еще. Вот, скажи, сказки любишь? Хочешь, я тебе сказку расскажу? Один охотник долго искал леопардов. И вдруг видит: на поляне лежит леопард». Ну, он как-то лучше рассказывал...

Степан. Ничего.

Буфетчица. «Выстрелил охотник. Осечка. Перезарядил ружье, удивляется: как это зверь не чует его? Выстрелил сызнова и убил. Подходит, а это человек в леопардовой шкуре. Тоже, оказалось, охотник, таким путем зверя выслеживал. Рассказал он мне эту сказку и спрашивает: «Как думаешь, какой ее смысл?» — «Не знаю», — говорю. — «А ты подумай». Думала я так и эдак, и пришел он мне в голову, этот смысл. Ночью пришел. Вот как ты разгадаешь, в чем он?

Степан. Сразу не скажешь.

Буфетчица. А вот он, смысл-то: не рядись в чужую шкуру — убьют... Подала я заявление, учиться не было возможности: отца на фронте убили, две младшие сестренки у меня на руках. Устроил меня Антон Петрович в столовую подавальщицей. Пошла, не подумай, не из какой особой выгоды.

Степан. Мне про вас Евгения говорила.

Буфетчица. Я чужого не возьму. А здесь все должности прошла. И поваром была, и вот буфетчицей. Заведовать три раза предлагали. Теперь согласилась. Скоро перейду. Так уж знаю: меня ни на закладке

продуктов, ни на выходе, ни на раздаче не обманешь. Все самой испытано, все умею.

Степан. Это лучше всего, когда человек на своем месте.

Входит Евгения.

Евгения. Что я слышу! Высокая житейская мудрость! Здравствуйте, тетя Лена.

Буфетчица. Чего ж свиданья-то у меня назначаешь, красавица?

Евгения. Заговор трех, тетя Лена. Тамара сейчас со смены придет. Она хочет Ивана воспитывать. Степан — как сдерживающая физическая сила.

Буфетчица. А ты?

Евгения. Я — на подхвате.

Буфетчица. Так Ивана-то нет.

Евгения. Тамара говорит — придет.

Буфетчица. Воды не хотите? Лимонная.

Евгения. Я — за.

Буфетчица ставит на стол воду, стаканы.

Евгения. Спасибо, тетя Лена. *(Садятся за стол.)* А если Иван буянить начнет, вы действительно с ним справитесь?

Степан. Как можно загодя говорить!

Евгения. И это чемпион края по борьбе! Кандидат в мастера спорта!

Степан. То-то и есть, что кандидат. До мастера не дотянул.

Евгения. Все равно, вы, наверное, очень сильный. Я слыхала, старые сибиряки-чалдоны двухпудовой гирей крестились.

Степан. Так я ж неверующий.

Евгения. У вас в деревне много таких?

Степан. А зачем вам много, Евгения Антоновна?

Евгения. Если можно, не зовите меня Евгенией Антоновной. Это мне в школе надоело.

Степан. А как же?

Евгения. В миру я просто Генка.

Степан. Генка!.. Нет, это я не могу — подождите, пообвыкну.

Евгения. Обвыкайте, пожалуйста, поскорей. И имейте в виду: Иван — верзила вот такой! Вид у него как у целой шайки убийц. Боюсь все-таки, увидите его и под стол... Слушайте, Степа, что это вы на меня все так смотрите?

Степан. Разрешите не говорить.

Евгения. Не разрешаю.

Степан. Душевно прошу.

Евгения. И не просите! Ну?

Степан. Думаю, Евгения Антоновна, что не по себе дерево рублю. Разве что измором возьму.

Евгения. Измором?

Степан. Измором.

Евгения. Интересно! А вы эту тактику уже на ком-нибудь проверяли?

Степан. Что вы, Евгения Антоновна... А с этим с Иваном-то что приключилось?

Евгения. Тут целая история. Иван — отличный парень. А Тамара — моя самая близкая подруга.

Степан. Она славная.

Евгения. Она замечательная! Даже необыкновенная! Не верите?

Степан. Вам? Да как можно?

Евгения. Она только молчит всегда. А ведь овладела, как говорит мой папа, самой мужской профессией — «эс эм».

Степан. Что это значит — «эс эм»?

Евгения. Сменный мастер, или стальной мастер, как их на заводе называют. Она очень решительная. И вот решила спасти Ивана.

Степан. Так и бывает. Девушки спасают, а жены губят. И от чего ж это она... спасает его?

Евгения. От самого себя.

Степан. Задача самая заковыристая.

Евгения. Вот именно. Иван работал мотористом. Вы знаете что это?

Степан. Да вроде. Я все ж таки механиком в колхозе.

Евгения. Так вот, испытывали двигатель, а он у него вразнос пошел. Понимаете?

Степан. Чего ж тут не понять? А вы-то понимаете?

Евгения (*обиженно*). Из чего это вы заключили, что я не понимаю?

Степан. Уж извините. Так, глупость сказал.

Евгения. Нет, но почему вы подумали? Почему это я должна не понимать? (*После небольшой паузы.*) А ведь я, действительно, не понимаю. Все говорят «вразнос», «вразнос». И я тоже киваю с умным видом.

Степан. А вы — молодец.

Евгения. Что?

Степан. Молодец вы... Сколь же у нас таких, что ничего-то не понимают, только кивают с умным видом, а ведь убей их — не признаются.

Евгения. Откуда у вас такие наблюдения?

Степан. А все из нашей деревни, из Краснополя.

Евгения. Поэтическое название.

Степан. Да что вы! Места у нас самые обыкновенные. Это кто ежели там родился. Так, знаете, всякий кулик свое болото... Смешно, конечно, у всего два месяца в институте на сессии, а малость заскучал. У нас, знаете, по бокам села — два озера. Вот утки утром с одного на другое — только свист стоит. Да работы у нас теперь! Не знаю, как без меня управляют.

Евгения. Интересный вы, Степан! Я хотела бы посмотреть ваше село.

Степан. Большой бы праздник для нас, Евгения Антоновна!

Евгения. Ну что вы такое говорите! А вы когда туда едете?

Степан. Завтра.

Евгения. Отпрошусь у папы. В школе у меня три дня свободных.

Степан. Евгения Антоновна!

Евгения. Объясните-ка мне лучше, что значит «вразнос».

Степан. Слушаюсь! Это когда в двигателе нарушается режим нагрузки. Очень неприятно. Все плавится, расклинивается, летит.

Евгения. И сильно летит?

Степан. Стены пробивает!.. Стало быть, у Ивана и получилось такое кино?

Евгения. Да, но он-то....

Степан. Понятное дело, не виноват. Это у них всегда так.

Евгения. Но он, действительно, не виноват! Он с кем-то поругался, ушел с завода.

Степан. Запил, обремжался.

Евгения. С вами трудно разговаривать. Вы все наперед знаете.

Входит Тамара.

Евгения. Не появился?.. Может, пойдём?

Тамара. Нет, не пойдём. Ждать надо.

Евгения. Ты почему, подружка, думаешь, что он именно сюда придет? В заводской стороне таких мест много. Может, он соизволит в «Сквознячок», «Зеленый шум», «Мечту футболиста»? Или в «Бурьян» на свежем воздухе.

Тамара. Должен сюда.

Евгения. Но почему?.. Ах, денег у него нет, а тетя Лена в долг дает.

Тамара. Помолчи.

Входит Марят.

Евгения (Степану). Это не он.

Степан. Само собой.

Буфетчица. Закрыто, гражданин. Разве не видите?.. Он недослышит, что ли?

Марат (*после долгой паузы*). Их ферштее ниht. Пардон. Нур цигаретен раухен!

Евгения (*шепотом*). Немец.

Тамара. ФРГ. Станки у нас монтируют.

Буфетчица (*Марату*). Чего, чего?

Евгения. Тетя Лена! Это иностранец.

Буфетчица (*Марату*). Ах, пардон, пардон... (*Дезушкам.*) Чего ему надо-то?

Евгения. Сигареты.

Буфетчица. Пожалуйста.

Марат. Данке, данке. (*Указывает на пиво, сосиски.*) Айн, цвай, драй!

Буфетчица. А трогать нельзя. Это, может, в Европе...

Евгения. Обслужите его, тетя Лена.

Буфетчица ставит на стол несколько бутылок пива.

Буфетчица. Свежее, жигулевское.

Марат. Генуг, генуг!..

Евгения. Он говорит: «Довольно». (*Тамаре.*) Приятный, правда?

Тамара. Нормальный.

Степан направляется к стойке, приносит оттуда фрукты, бутерброды.

Евгения. Куда вы все это набрали?

Степан. А как же! Сидим с одной бутылкой лимонада, а тут за-граница.

Тамара. Зря. Они с кружкой пива чуть не полсуток сидят.

Марат. Прошу прощения. Из головы вылетело, как по-немецки «горчица».

Евгения. Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!

Марат. Правильно сказал товарищ Тургенев! А вот немецкий я забывать стал. Практики нет.

Буфетчица. Чего ж вы мне голову морочили! (*В сердцах.*) Буфет закрыт!

Марат. Простите великодушно. С завода иду, пообедать не успел, а вы меня за дверь. Пришлось немцем прикинуться. Своих-то мы как придется, а иностранца всегда накормим.

Буфетчица. Ладно уж. Только побыстрее давайте, побыстрее!

Марат. А горчица?

Буфетчица. Еще ему горчица! (*Уходит.*)

Евгения. Закономерно.

Входит Иван. Он расхристан, небрит, в старых калошах на босу ногу.

Степан. Вот это он.

Евгения. Точно! Ну, держитесь! А то, может, под стол?

Иван (*увидев девушек*). Шпионить за мной! Колбаской отсюда!

Живо!

Тамара. Приказывает!

Иван. Для начала — советую.

Евгения. Ну, ты не очень. (*Встает.*)

Иван. Это еще что? Старшая группа детского сада? Марш, марш обе... Сказал — катитесь!

Евгения (*она явно испугана*). Сам катись! (*Смотрит на Степана.*
Тот по-прежнему молчит.)

Иван. Возьму за ручонку!

Евгения. Не трогай! Я так заору — посуда полопается.

Иван. Я тебе заору! Я...

Степан. Не так круто, друг.

Иван. Чего? Чего?

Степан. Отчаль от девушек.

Иван. Ты что, дружинишь при них?

Степан. Пытаюсь. Может, дружинить, может, дружить.

Иван. А может, тебе показать дорогу?

Степан. Попробуй.

Иван. Ты у меня потеряешь профсоюзный облик. (*Подходит к Степану.*)

Тамара. Ваня!..

Иван. Сгинь!

Тамара. Что это еще за «сгинь»?

Иван. Провались! (*Степану.*) Выйдем!

Степан. Рановато.

Иван. Дрейфишь?

Степан. А чего ж на рожон лезти?

Иван. Я сегодня добрый, можешь извиниться.

Степан. А за что?

Иван. Видали чудика?

Степан. А кто ж из нас чудик?

Иван. А... Связываться с вами... (*Хочет уйти.*)

Степан (*загораживает дорогу*). Нет, ты уж погоди.

Иван. Да ты чего! Ты чего! (*Берет его за отвороты пиджака.*)

Врежу — в полете подметки отвалятся!

Степан (*с деланным испугом*). Ну что ты! Зачем ты! (*Сажает его на стул.*)

Иван. Уйди! Уйди, говорю! (*Пытается встать.*) Крючья-то из железа!

Степан. Зачем из железа? Нешто я не человек!

Евгения. Ага! Нарвался на своего!

Иван (*стучит кулаком по столу*). Пусты, говорю! А то...

Степан. Это ты уже говорил! Так запугал — поджилочки трясутся.

Тамара. Послушай лучше, что я тебе скажу... Я к главному конструктору ходила...

Иван (*не хочет ее слушать, отбивая ногами такт, поет*). Ходила, ходила... По улице ходила большая крокодила...

Тамара. Слышишь? Он сказал, что такого моториста...

Иван. По улице ходила, ходила, ходила...

Тамара (*кричит*). Такого моториста...

Марат (*оттесняет Тамару*). С ним не так надо. (*Ивану тихо, вежливо*.) Стало быть, вы — моторист?

Иван (*несколько удивлен*). Ну...

Марат (*так же*). В следующий раз, когда буду спрашивать, отвечайте «да» или «нет».

Иван. Да вы чего все? Чего он меня будет спрашивать?

Марат. Придется.

Иван. Это почему же?

Марат. Работать будете у меня мотористом.

Иван (*кричит*). Кто меня возьмет?

Марат. Я!

Иван (*кричит*). Мне сказали: «Забудь, где проходная».

Тамара. У него мотор вразнос пошел?

Марат. Что, воду отключили?

Иван (*стихая*). Откуда знаете?

Марат. Частый случай.

Иван. Я пытался остановить.

Марат. Плохо пытался.

Иван. Регулятор не работал.

Марат. Ладно, на деле оправдаетесь. Здесь сто рублей. Больше у меня нет. Завтрашнее утро потратите на экипировку. В четырнадцать часов позвоните мне по заводскому телефону 7-27... Жду звонка. До свидания. (*Буфетчице*.) Спасибо вам за угощение.

Буфетчица. На здоровье.

Марат уходит.

(*Ивану*.) Этот тебя возьмет, не затрепыхаешься.

Степан. Да. Шутить, видать, не любит.

Евгения. Вот человек!

Тамара. Что ты к окну-то прилипла! Степану хоть спасибо скажи.

Евгения (*не отрываясь от окна*). Спасибо вам, Степан!

Степан. Не за что, Евгения Антоновна! Так я подумал, если поедете, я тогда такси могу заказать.

Евгения. Такси? Куда? Ах, в деревню... Так ведь папы дома нет.

Степан. Папы... Понятно. (Ивану.) Ну, кончился у тебя организационный период. Теперь кривая вверх пойдет.

Иван (добродушно). А твоя как бы не в сторону! (Кивает на Евгению.)

Занавес.

КАРТИНА ВТОРАЯ

На левом, покрытом кустарником берегу Оби. Бушуев рыбачит. Тамара возится с котелком для ухи.

Бушуев. Что будешь варить? На уху не надергал.

Тамара. Хватит на щербу.

Бушуев. Сорвался! Ушел, дьявол! Шумишь тут под руку!

Тамара. В чем дело-то, Антон Петрович?

Бушуев. Как в чем? Не видишь — сорвался! Окунишка, наверное.

Тамара. Вижу...

Пауза.

Бушуев. Правду сказать, настроение мне испортили еще вчера. Ходил я, понимаешь, на заседание завкома. Обратился ко мне литейщик один на счет квартиры. Просьба справедливая. Очередь его. И ведь отложили до сдачи следующего дома. А квартиру куда, думаешь, отдали? В конструкторское бюро. Обрели там, видишь ли, гения какого-то, конструктора нового. Без году неделю на заводе — и жилье ему подавай.

Тамара. Неужели не могли доказать?

Бушуев. Докажешь там! Все уже оговорено, договорено. Посмотрел я на этого типа. Из тех! В игольное ушко пролезет да еще шифоньер протащит.

Появляется Евгения.

Евгения. Каковы успехи на путине?

Бушуев. Явление следующее. Еще тебя тут не хватало...

Евгения. Неудачи на трудовом фронте породили раздражение.

Тамара. Не балагань!

Евгения. А где же Иван? Еще не появлялся?

Тамара. Нет.

Евгения. А обещал. Можно сказать, полностью перестроился, новую жизнь ведет, а пунктуальности еще не научился. (Важно.) Между тем точность — вежливость королей...

Тамара. Понесла!

Бушуев. Что за черт! В прошлый раз на этом самом месте рука устала таскать.

Евгения. Ну да! В прошлый раз закинешь — и клюет, закинешь — и клюет. Только небольшой перерыв был, это когда две рыбки сразу бросились и одна другую оттолкнула.

Тамара. Евгения!

Евгения (*осматривая рыбу*). Одни чебаки. Ты, папа, не рыбачишь, а чебачишь... (*Хочет сбежать в воду.*)

Бушуев. Куда? Другого места ей нету. Последнюю рыбу распу-гаешь.

Евгения. С детства она слышала одни грубые окрики. Она рано узнала, что такое несправедливость. (*Бьет себя по лбу.*) Стоп! Идея!.. Но ее хорошенькая головка всегда была полна альтруистических мыслей. (*Убегает.*)

Бушуев. Ага, щучка! Хватит тебе разбойничать. Дай-ка, Тома, кваску попить.

Тамара. Пожалуйста.

Бушуев. Генка-то где?

Тамара. Убежала.

Бушуев. Совсем девка не взрослеет! Нет, мало я ею занимался. Я ведь как ее воспитывал. Мы с матерью покойницей на работу, а ей задание на бумаге: помыть посуду, сходить в магазин, сделать уроки по таким-то предметам и отметить, что сделано, на том же листе... Все письма какие-то получает...

Тамара. Это она от Степана.

Бушуев. Что еще за Степан?

Тамара. Механик. В колхозе работает.

Бушуев. Гляди, еще колхозницей заделается.

Тамара. Бряд ли. У нее уже другой на уме.

Бушуев (*в сердцах*). Чего и ждать-то — они за ней табунами ходят.

Тамара. Клюет!

Бушуев. А, черт, сорвалась! Крупная... (*Ворчит.*) А все, понимаешь, стелкают, с разговором лезут. Рыба требует внимания... А они...

Прибежала Евгения.

Евгения. Тома! Иди-ка сюда! Смотри. (*В руках у нее полиэтиленовый мешочек с рыбой.*)

Тамара. Откуда?

Евгения. Там старик рыбачит. Я говорю: дедушка...

Тамара. Купила? (*Евгения молчит.*) Выцыганила. (*Евгения молчит.*) Выцыганила?

Евгения. Еще раз скажи.

Тамара. Ладно. А для чего приволокла? Отца хочешь обидеть?

Евгения. А чего ж тут обижаться, если у него одни чебачишки...

Тамара. Прав Антон Петрович, совсем не взрослоешь?

Евгения. А я и не тороплюсь взрослеть. Зачем это мне сначала взрослеть, потом стариться, потом...

Тамара. Что потом?

Евгения. Сейчас надо скорей уху варить и ехать — на футбол опоздаем... А рыбы не хватает, я и взяла.

Тамара. Как ты только детей учить будешь?

Евгения. А ты слышала что-нибудь?

Тамара. Что еще?

Евгения. В школе у меня неприятности... Я, понимаешь, одному мальчишке шпаргалку передала.

Тамара. Молодец!

Евгения. У него переэкзаменовка. Он знает и волнуется, а математик вредный...

Тамара. Да ты там кто?

Евгения. Вот завуч тоже говорит... Стоп!

Тамара. Опять идея?

Евгения. Где моя маска? Я хочу понырять.

Тамара. А рыбу я понесу?

Евгения. Вот она, моя масочка!

Тамара. Слышишь? Ты ж за нее не платила...

Евгения. Слышу, все слышу!

Тамара. Буду костер разжигать.

Евгения незаметно перегружает рыбу в отцовский котелок. Бушув оборачивается, она бросает туда и мешочек.

Бушув. Что? Погоди, клюет!.. Сорвалось! Ого! Сызнова клюет! Недалеко ушла! Гляди — за губу зацепилась. Редкий случай! Про такой даже наша газета не писала. А уж она насчет завода промолчит, а про рыбаков каждый день... Евгения, принеси-ка кваску.

Евгения бежит за квасом. Бушув бросает рыбу в котелок, склоняется над ним.

Бушув. Что такое... *(В руках у него знакомый нам полиэтиленовый мешочек с рыбой.)* Смотри, как теперь рыба разводится — полным комплектом для уха. И в полиэтиленовых мешочках. Хорошее начинание! Да вот, кажется, и инициатор! А ну, иди сюда!

Подходит Евгения.

Тамара. Сильных ощущений!

Евгения. Вот, папа, квас... Не буду отпираться, только я нечаянно!

Бушуев. Что нечаянно? Рыбу нечаянно приволокла? Или мне нечаянно подложила?

Евгения. Мешочек нечаянно опустила. Я хотела несколько рыбок, а ты оглянулся.

Бушуев. Дурочка! Обмануть-то не умеет!

Евгения. Да ты не заметил.

Бушуев. Кто? Я?

Евгения. Нет, я.

Бушуев. Да я всегда настороже. Или не знаю, какое у меня чадо выросло?.. Где рыбу-то взяла?

Тамара (*она тем временем разожгла костер, чистит рыбу*). У рыбаков выцыганила.

Бушуев. Отнеси!

Евгения. Лучше я Тамаре помогу.

Тамара. Не хитри! Сама справлюсь.

Евгения. Те рыбаки, наверное, уже ушли.

Бушуев. Не ушли! Ну, марш! Даю три минуты.

Евгения. Солдатам и то пять минут дают... И апеллировать не к кому! Даже Ивана нету, он бы хоть за меня заступился. Да иду, иду!

Уходит.

Бушуев. Ну девка!

Тамара. Вон гость к ней едет.

Бушуев. Что еще за гость?

Тамара. А помните, мы рассказывали, инженер, у которого Иван...

Бушуев (*всматривается*). Постой, постой, так это же Якимов!

Тамара. Да, кажется, Якимов его. Марат Георгиевич зовут. Глядите, левее берет, знает место, где пристать.

Бушуев. Именно, левее берет. Это ж тот самый, который вчера квартиру оттяпал!

Тамара. Тот?!..

Бушуев. Уж и с Генкой успел знакомство свести! Ну погоди, я тебя встречу! Мы с тобой продолжим заседание, хотя кворума здесь и не намечается...

Входит Евгения.

Тамара. Отдала?

Евгения. Так точно! (*Бушуеву*.) Ваше приказание выполнено!

Бушуев молчит.

Тамара. Что-то быстро!

Евгения. Приказано за три минуты. (Тамаре.) А что это папа на точке кипения? Неужели я уж так...

Тамара. Сейчас узнаешь.

Входит Марат. В руках у него знакомый полиэтиленовый мешочек.

Марат. Добрый день!

Евгения. Господи! Зачем вы!..

Марат. Так, значит, это ваша рыба? Под кустом?

Евгения. Я оставила ее там... сушиться.

Марат. А я подумал — странная находка. Мне, знаете, всегда везет. Я очень часто что-нибудь нахожу.

Тамара. Везет...

Марат. Нет, честное слово. Это какое-то мое небольшое хобби.

Евгения. Не так уж плохо. Папа, познакомься, это...

Бушув (отвернулся). Уже имел честь.

Евгения (смущенно). Жара сегодня какая!

Марат. Да, палит, как в тропиках! Хоть бы квас где продавали. Я, знаете, заметил, что в этом городе нет квасного патриотизма.

Евгения. У нас есть квас. Хотите?

Бушув. Евгения! Отнеси рыбу!

Евгения. Папа! Рыбаки уехали, честное слово! (Подает Марату кружку с квасом.) Пожалуйста!

Марат. Спасибо!

Евгения (стремясь сгладить неловкость). Муравьи у самой воды. Это не часто бывает.

Марат (возвращает кружки). Отличный квас! Да-а... Муравьи, говорите, у воды. Вода нынче большая. Поэтому.

Евгения. Да, действительно. А я люблю муравьев наблюдать. Я про них читала. Есть муравьи — рабочие, есть солдаты, есть даже скотоводы.

Бушув. Есть и захватчики.

Марат. Да, я тоже об этом слышал. Это так называемые муравьи-амазонки. Они нападают на незнакомых.

Бушув. Ну, на незнакомых вряд ли. На незнакомых кто будет нападать?

Евгения (снова сглаживая, только теперь уже не неловкость, а остроту). Посмотрите, муравьишка такой симпатичный! Куда-то все лезет, а его не пускают.

Бушув. Может, тоже в чужую квартиру.

Марат. Простите, не знаю вашего имени и отчества...

Бушув. А я не со всеми знакомлюсь.

Марат. Похвальная осмотрительность. Но что касается того намека...

Бушуев. Как-то я у Марка Твена вычитал: «Он сказал мне: уберите. Я понял это как прямой намек».

Марат. Замечательный юморист Марк Твен. Но я больше люблю реалистов и психологов. Это, кажется, Бальзак сказал или, может быть, даже я сам: «Оскорбляющий людей незаслуженно рискует сохранить на своих губах вкус полыни».

Бушуев (*Тамаре*). А тот герой Марка Твена все-таки был если не догадливый, то совестливый... Евгения! Ступай узнай, когда теплоход придет.

Евгения. Так ведь еще уха не готова!

Бушуев. Делай, что говорят!

Евгения. Вот так всегда — наказана, но не убеждена. Я сейчас вернусь. Оставляю вас наслаждаться взаимным общением. (*Уходит.*)

Марат. Спасибо. И мне пора поблагодарить за теплый прием. (*Уходит в другую сторону.*)

Бушуев. Видали экземпляр! Хотя бы чуточку смутился. Не покраснел, ну хоть порозовел! Нет, улыбается, как манекен на витрине. Еще какую-то полынь приплел... (*Тамаре.*) А ты чего молчала?

Тамара. Что же я скажу?

Бушуев. Что? Все!.. Чего улыбаешься? А?

Тамара. Ладно вам. Щерба-то готова, кажись.

Бушуев. Готова? Так Генки нету. Где ее черти носят?

Тамара. Сами послали.

Бушуев. Что я ее — на час посылал! Тут два шага.

Тамара. И прошло две минуты. Да вот она!

Вбегает Евгения.

Евгения. Еще приятная новость! Теплохода сегодня не будет.

Бушуев. Как не будет?

Евгения. Что-то, говорят, у них сломалось.

Бушуев. Что сломалось?

Евгения (*она только теперь заметила отсутствие Марата*). Папа, ну я тебя кто — механик? А Марат Георгиевич где?

Бушуев. Это нас мало заботит.

Евгения. За что вы на него?... Просто неудобно даже.

Бушуев не отвечает.

Тамара. А как народ?

Евгения. Какие-то тайки мадридского двора. (*Тамаре.*) Что ты? Народ? Народ не безмолвствует. Народ всячески костерит городское начальство. А вообще, кто вплавь направляется, кто к мосту идет. Ага! Вон он купается!

Бушуев. До моста добрых десять километров.

Евгения. Да о чем говорить! Я вижу, уха готова. Давайте есть, а потом Марат Георгиевич нас перевезет.

Бушуев. Чтобы я с ним поехал!

Евгения. Ах, какая вкуснятина! Ешьте, папа. А насчет переезда...

Тамара! Я взываю к твоему прославленному здравому смыслу.

Тамара. Да ты что! Прогнали человека, а теперь...

Евгения. Тогда будем робинзонами!

Бушуев. Хоть Пятницами!

Евгения. А футбол? Футбол пропустить? Решающая игра!

Тамара. Пропускать обидно!

Евгения. Тогда трое в одной лодке, не считая Марата.

Бушуев. Нет уж, тогда не считая меня.

Евгения. Хотела бы я знать, чем плох Марат...

Бушуев. Узнаешь! Всему...

Евгения. Мотор заводит. Крикнуть?

Бушуев. Я те крикну!

Евгения. Ведь уедет! Заведет мотор и уедет. *(Смирившись.)*

Скроется в синей дымке, и мы останемся робинзонами. Три робинзона. А там, в цивилизованном мире, — футбол. И зачем только я стояла за билетами? Меня Аркадий тогда приглашал кататься на водных лыжах.

Бушуев. Ты Аркашке-то перестань голову крутить — хороший парень!

Евгения. Я тоже — хороший парень, а вот не попадаю на футбол. А стояла, терпеливо стояла. И Миша меня тогда звал в кино...

Тамара. И Венька звал...

Евгения. Венька не звал. А вот Игорь...

Бушуев. Ты закончишь свой поминальник!

Евгения. Кончаю. А вообще, как пишут в газетах, «этот список можно продолжить»... Завел! Завел! И идет-то мимо нас, как дразнится! *(Пауза. Евгения не выдерживает.)* Алло, Марат! Марат Георгиевич!

Бушуев. Генка!

Евгения. Терпим бедствие!

Тамара. С ума сошла!

Марат *(появляясь)*. Что случилось?

Евгения. Видите ли...

Бушуев. Генка!

Евгения. Так. ничего.

Марат. Мне показалось, вы кричали «Терпим бедствие!»

Бушуев. Чудится людям!

Марат. Остается перекреститься. *(Пауза, во время которой появляется Иван.)*

Евгения. Иван!

Иван. Вот он я!

Тамара. Неужели?

Иван. Вы еще не знаете, кто я такой.

Евгения. Да ну? Лучше скажи, где ты пропадал.

Иван. А ты попробуй переправься, если катер не ходит.

Евгения. В том вся суть.

Иван. Я зафрахтовал пацанов на весельной. Зазывал их сюда, но они уехали рыбачить в протоку. Я, конечно, сокрушался, да теперь они и не нужны.

Бушуев. Как это не нужны?

Иван. У Марата Георгиевича лодка.

Евгения. Лодка!

Марат. К вашим услугам.

Бушуев (*демонстративно развертывает удочки, забрасывает крючок*). Малость порыбачим.

Иван. Что вы, Антон Петрович, на футбол опоздаем.

Бушуев. Я, наверное, не пойду.

Иван. Как?! Вы не пойдете? Этого же быть не может! Я вас отсюда увезу. Вот увидите — увезу.

Бушуев. Тише ты, порох. Клев хороший. Пропускать жалко.

Евгения. Папа тут целыми мешками ловил.

Тамара. Евгения!

Евгения. Евгения! Что Евгения! Могу я в выходной день, как человек, посмотреть футбол?

Бушуев. Кто тебе мешает? Езжай, смотри!

Евгения. Вы же знаете, что без вас никто не поедет.

Бушуев. Не кричи! Клюет...

Евгения (*тише*). Вот теперь клюет. Теперь она нарочно будет клевать... Марат Георгиевич, неужели вы ничего...

Марат. Не спешите. Всему свое время. (*Ивану*.) Ну, а у тебя какие новости?

Иван. У меня?.. Ребята! Товарищи! Вы ж меня так огорошили, будто молотком по голове! Я ж главного не сказал: кто я. Антон Петрович!

Бушуев. Да тише ты!

Иван. Тут такая новость, что и гаркнуть можно! Я же ответственный квартиросъемщик.

Тамара. Квартиру дали?

Евгения. То-то, я смотрю, ты стал еще глупее.

Иван. Отколись ты, Генка! Вы понимаете, что это значит? Значит, еще нужен Иван! Не из милости держат. Дали! Двухкомнатную. Кто-то из наших вчера на завкоме выхлопотал! Марат Георгиевич, не знаете?

Марат. Абсолютно не в курсе. Во всяком случае, поздравляю!
И может быть, мы все-таки поедем?

Пауза.

Тамара *(решительно)*. Поедем!

Евгения. Надо!

Переглядывается с Тамарой. Обе не в силах сдержать смех. Собирается и Бушуев.

Марат. Вам помочь?

Бушуев. Обойдусь.

Идет в лодку. Евгения и Тамара вновь весело переглядываются.

Иван. Чегой-то они все? А?

Занавес.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Столовая в квартире Бушуева. Три двери: в комнату Бушуева, Евгении, в прихожую и кухню. Мебель современная. Ощутимы вкус, строгость. В комнате Бушуев. Рассматривает какие-то предметы на небольшом столике, качает головой. Звонки. Идет открывать. Возвращается с Тамарой.

Бушуев. Нет, Генки еще нету. Я вот смотрю, своей комнаты ей мало. И сюда простирается. Гляди, ножницы, скребки, кусачки, ножи, напильники — целое инструментальное хозяйство.

Тамара. Только филиал. *(Пауза. Смотрит на часы.)* Не дождусь ее, наверно.

Бушуев. А сильно нужна?

Тамара. Звонила. Поговорить хочет.

Бушуев. Н-да... Я смотрю, как бы у нее с этим чего серьезного не было.

Тамара. С кем?

Бушуев. С этим... *(Звонок.)* Вот и она.

Тамара. Я открою. *(Уходит, возвращается с Иваном. Тихо.)* Ну что ты ходишь за мной?

Иван *(так же)*. Ты тоже за мной ходила. *(Громче.)* Антон Петрович, здравствуйте!

Тамара *(тихо)*. Дурой была.

Бушуев. Здравствуй, здравствуй *(Пауза.)* Ну вот что, молодежь, я вижу, вам есть о чем поговорить в ожидании Генки. А я должен тут... заняться... *(Уходит.)*

Иван. Долго будешь от меня бегать?

Тамара. Долго.

Иван. Но почему?

Тамара. Не нужен ты мне такой.
Иван. Какой? Я какой был...
Тамара. Тише ты!
Иван. Там не слышно.
Тамара. Здесь слышно.
Иван. А здесь кто?
Тамара. Якимов Марат Георгиевич.
Иван (*весь подтягивается*). Чего ж кричишь?
Тамара. Встань по стойке «смирно». Ремень поправь. Пуговичку верхнюю застегни.
Иван. Да тише ты...
Тамара. А чего тише?
Иван. Ну перестань, неудобно.
Тамара. Мне удобно.
Иван. Тома!
Тамара. Да нету там никакого Марата.
Иван. Нету?..
Тамара (*иронически*). Не переменялся!
Иван. Доказала! Что ж ты доказала? Зазорно уважать хорошего человека?
Тамара. Антона Петровича уважаешь?
Иван. Ну.
Тамара. А денщиком при нем не состоишь. Весь завод говорит: Ванька Солодов в денщики пошел.
Иван. Дура! Ну дура и все! Да я... я...
Тамара. Не кричи! Может, он там.
Иван. Там? (*Понял, что его разыгрывают.*) Говорить с тобой не хочу!

Уходит. Входит Евгения.

Евгения. Чокнулся! Совсем чокнулся! Выскочил, понимаешь, ни здравствуй, ни прощай. От него заикой станешь, честное слово!.. Марат приходил?
Тамара. Нет.
Евгения. А я торопилась. С собрания сбежала.
Тамара. Ты ж со мной хотела поговорить.
Евгения. Ну, конечно... Слушай, подружка, у меня новость!
Тамара. Говори!
Евгения. В колхоз еду. И знаешь куда? В Краснополье.
Тамара. Краснополье? Ну и что?
Евгения. Там же Степан!
Тамара. Опять поклонник! Широкая география!
Евгения. Конечно! А что теряться в наш век столь развитых ком-

муникаций... (Пауза.) Эх, Томка, Томка, ничего ты не понимаешь... Я ж о главном тебе еще ни словечка... (Пауза.)

Тамара. Ну, говори!

Евгения. Никто мне не нужен, кроме Марата... А тебе он нравится?

Тамара. Важнее, чтобы тебе.

Евгения. Нет, а тебе?

Тамара. Ничего. От некоторых привычек отучить да пудовую гирию на нос повесить — еще лучше будет.

Евгения. Как в старину говорили, в ложке воды бы его выпила. Вот папа его не любит. А мне, понимаешь, даже это второстепенно. С квартирой, помнишь, его подозревал. А мне все равно. Даже если бы он себе взял эту квартиру, я бы его любила.

Тамара. Ну, ну!

Евгения. А что ты думаешь, любят только тех, кто правильно распределяет квартиры или перевыполняет нормы?

Тамара. Замуж собралась?

Евгения. Хоть сейчас! Только пусть предложит.

Тамара. А что же не предлагает?

Евгения. Не раз намекал. А сегодня, если не скажет, я ему сама скажу...

Входит Бушув.

Бушув. Слышу Генкин голос. А где же Иван?

Тамара. Ушел.

Евгения. Называется — ушел! Чуть с ног меня не сбил... У меня чрезвычайное сообщение!

Бушув. Не землетрясение, надеюсь?

Евгения. Я еду в село!

Бушув. Это что же, на уборку?

Евгения. Представь себе, папа.

Бушув. И надолго?

Евгения. На месяц.

Тамара. Но ты, Генка, на полчаса-то свободна или как?

Евгения. Или как.

Тамара. Понятно. Я думала, на завод проводишь. Мне сегодня в ночную.

Евгения. Завтра придешь?

Тамара. Приду.

Евгения. И вообще, за папой тут будешь смотреть. На тебя оставляю.

Тамара. Смотреть — это за тобой надо. А навещать буду.

Уходит.

Бушуев. Возьмешь телогрейку, сапоги, мою меховую поддевку.
Евгения. А доху братъ?
Марат *(входя)*. Можно?
Евгения. Ты как?
Марат. С отмычкой.
Евгения. Тамара открыла?
Марат. Сложная задача на сообразительность.
Евгения. А я уезжаю.
Марат. Далеко? *(Бушуев хочет уйти.)* Антон Петрович! А я ведь вам книгу достал.
Евгения. Та самая! Папа ее два года ищет. Как тебе удалось?
Марат. Просто, написал письмо букинисту. Велел своей секретарше размножить и разослать в двадцать адресов. Получил три книги. Две сдал в наш бук. А эта — вам подарок.
Бушуев. Спасибо. Прочитаю — отдам. *(Уходит.)*
Марат. Ну, здравствуй. *(Целует Евгению.)*
Евгения. Здравствуй.
Марат. А я знаю, почему старик меня не принимает.
Евгения *(мягко)*. Не называй папу стариком.
Марат. Извини.
Евгения. Почему же?
Марат. Ошибся Антон Петрович.
Евгения. С квартирой?
Марат. А такие люди ошибаться не любят... Ну вот, уже облачко набежало. Сгони облачко! *(Снова целует Евгению.)*
Евгения. Папа очень упрямый. Знаешь, он ведь поздно стал учиться, двадцати восьми лет в третий класс пошел. И вот, рассказывает, учитель вызвал к доске: «Сколько будет пять умножить на ноль?». Папа пишет: равняется пяти. Учитель — нет, нулю. Папа — нет, пяти. Как учитель его ни убеждал, убедить не мог. После урока спрашивает: «У тебя, Бушуев, деньги есть?» — «Нету». — «Совсем?» — «Совсем». — «Значит, ноль». — «Ноль». — «Так вот, помножь его на пять да пойдем по кружке пива выпьем».
Марат. Значит, и Антон Петрович ошибается.
Евгения. Но редко.
Марат. Куда же ты уезжаешь?
Евгения. На уборку.
Марат. Сегодня?
Евгения. Завтра.
Марат. Это уже лучше. А то я бы тебя даже проводить не смог.
Евгения. Опять на завод?
Марат. Опять облачко.
Евгения. Тогда лучше бы не приходил.

Марат. Ну не сердись, Генка!

Евгения. Я вам не Генка.

Марат. Извините, Евгения Антоновна.

Евгения *(после паузы)*. Что у вас там, на заводе?

Марат. Совещание.

Евгения. У нас тоже собрание, но я ушла.

Марат. А я, к сожалению, не могу.

Евгения. Скажи, не хочешь.

Марат. Ну что ты городишь, Генка!

Евгения. Действительно, что я горожу?

Марат. Стандартный у нас конфликт, девочка. Ну, сгони облачко!

Ну, улыбнись! Ты ведь долго не умеешь сердиться.

Евгения. Какой ты, однако, самонадеянный. Знаешь, какую с тобой нужно операцию провести? Пудовую гирию на нос повесить. Чтобы сильно не задирали.

Марат. Это кто же тебя надоумил?

Евгения. Один человек.

Марат. Скажи ему, что он не оригинален. Я подобное с детства слышу и удивляюсь, как это людям не надоело твердить одно и то же.

Евгения. Разным людям? Они наверняка сговорились.

Марат. Вот и ты решила принять участие в сговоре.

Евгения. Как это неблагородно с моей стороны!

Марат. Ничего! Это мне вроде тренировки. Ведь на совещании, какое откроется через час, вопрос пойдет о том же.

Евгения. Да?

Марат. Наверняка будут обвинять меня в самонадеянности, прожектерстве.

Евгения. А может быть, не без основания?

Марат. Конечно же, Генка. Я очень самонадеянный человек! Очень! Я предельно и беспредельно надеюсь на себя.

Евгения. Вот как!

Марат. Только так! Ты знаешь, что такое конструктор?

Евгения. Думаю, что да.

Марат. Думаю, что нет. *(Очень серьезно.)* Мы с тобой никогда об этом не говорили. Конструктор — это человек, который может принести высокое моральное удовлетворение и материальное благополучие своему заводу. А может разорить завод, министерство и поставить перед серьезными проблемами всю страну.

Евгения. И что же из этого вытекает?

Марат. Из этого вытекает: если не надеешься на себя, иди куда угодно — мороженым торгуй, огородную рассаду выращивай, диссертацию пиши, но в конструкторы — воздержись.

Евгения. Хочется мне с тобой поспорить, но не знаю как.

Марат. Типичный случай. Многие не знают, а спорить хотят.

Евгения. Но тебя нестораживает, что хотят спорить?

Марат. Я об этом думал. Это просто объясняется. Привыкли аршином мерить. А между тем давно уже в качестве официальной меры приняты метры. У нас привыкли: если человек не восхищен тем, как живут да работают вокруг, — значит, он самонадеян. Если он не скрывает, что мог бы делать больше и лучше, чем делается, — значит, он карьерист, пробивист, как Антон Петрович квалифицирует. Если окажется предприимчивым, умеет где сломить, где обойти ненужные рогатки, кстати те самые, которыми все возмущаются, неминуемо еще и под подозрением окажется: не для себя ли он это, не в свою ли пользу? А еще, не дай бог, если этот человек в стандарты не укладывается, если он не чудак какой-нибудь, не обносившийся правдоискатель с трясущимися от благородного негодования руками, если он и собран и выдержан, умеет выждать и ударить, где надо, — ну, тогда проявляй бдительность, держи ухо востро: может, он вообще чужак!

Евгения (*размышляя*). Интересно, отец бы с тобой поспорил?

Марат. А тебе очень этого хочется?

Евгения. В педагогических целях. Я же все-таки учительница.

Марат. Время с нами спорит, оно все докажет. В том числе и мою правоту.

Евгения. Что ж, дай бог... Но я-то хороша!

Марат. Чем?

Евгения. Серьезные разговоры веду, в синий чулок превращаюсь.

Марат. Это тебе пока еще не грозит. Но погоди, ведь мы главного еще не выяснили. Надолго ли едешь?

Евгения. Наконец догадался спросить.

Марат. Ты знаешь, это меня все время как-то мучило.

Евгения. На целый месяц!

Марат. Ого!.. Не забудешь меня?

Евгения. Постараюсь.

Марат. Забыть или не забыть?

Евгения. Еще спрашиваешь! Забыть, конечно! Один человек мне в этом поможет.

Марат. Интересно, что за человек? Не я ли сам?

Евгения. Не ты! Я еду в Краснополье.

Марат. Краснополье? Там наши моторы на хозяйственных испытаниях.

Евгения. Там Степан работает.

Марат. Даже так!

Евгения. Представь себе!

Марат. Что же это — необходимо?

Евгения. Совершенно.

Марат. Борьба за хлеб — всенародное дело?

Евгения. Точно!

Марат. Но почему именно Краснополье?

Евгения. А почему бы не Краснополье?

Марат. Тогда все ясно.

Евгения. Абсолютно ясно... А я считала, что ревность — пережиток капитализма. И что она унижает человека.

Марат. Эрудиция!

Пауза.

Евгения. Да, я тоже забыла спросить. Есть хочешь? Или не больше, чем обычно?

Марат. Совсем не хочу... Кстати, мне пора.

Евгения. Чудак!

Марат. Но мне действительно пора. У меня действительно совещание.

Евгения. Так и знала, что ты устроишь мне семейную сцену.

Марат. Значит, Краснополье было выбрано в расчете еще и на это?

Евгения. Ты бы слышал, как я отговаривалась от этого Краснополя! Но если наша школа едет туда, не могу же я в другое место. И вообще...

Марат (с облегчением). Ну и шуточки у вас, товарищ педагог! Зачем они тебе понадобились? И... что «вообще»?

Евгения. Все возникло как-то по ходу.

Марат. Что «вообще»?

Евгения. А знаешь, ревность — все-таки приятный пережиток. Приятно, когда тебя ревнуют.

Марат. Не думаю, чтобы Дездемоне было так уж приятно, когда мавр...

Евгения. Ну, это все когда-то. Теперь чувства проявляют осторожно. Вроде: «Кстати, мне пора»...

Марат. А что «вообще»?..

Евгения. Ну что ты привязался к этому «вообще»!

Марат. А за ним что-то стоит.

Евгения. Почувствовал?

Марат. Ну что «вообще»?

Входит Бушув. В руках у него телогрейка.

Бушув (хмуро). М-да... Вообще, тебе, Генка, собираться надо. Вот пуговицы пришить.

Евгения. Успею, папа.

Бушуев. Успеешь. У тебя, как на охоту ехать... (Уходит.)

Марат. Вот и узналось, что «вообще». Опять прямой намек.

Евгения. Нет, не это, не это... Вообще... мне никто не нужен, кроме тебя.

Марат. Генка!

Евгения. Ну что — Генка?

Марат. Генка!

Евгения. Двадцать два года Генка.

Марат. Значит, я могу надеяться?

Евгения. Но ты же вообще самонадеянный

Марат. Я... нет... я...

Евгения. Такой самонадеянный, а здесь как мальчишка.

Марат. Генка! Если бы ты понимала, что ты для меня... Я таких слов не знаю. Весь мир — в тебе... Ты... и больше никого нет. И не надо никого и ничего. Я... глупости говорю?

Евгения. Говори, говори, пожалуйста!

Марат. Я... Да теперь и нет таких слов! Раньше были «божество», «звезда», «мечтанье», «бормотаний твоих жемчуга». А новых нет. А они, оказывается, так нужны!

Евгения. Слушай! А ты не будешь меня обижать?

Марат. Буду, обязательно буду.

Евгения. Колотить?

Марат. И колотить.

Евгения. Больно?

Марат. Не больно не бьют... Давай сделаем самое трудное — скажем отцу?

Евгения. Не сейчас.

Марат. Когда же?

Евгения. Я уже обдумала. Все будет, когда я приеду.

Марат. Не езд, Генка!

Евгения. А разве ты мог бы не ходить на завод?

Марат. А я... (запинаясь) не пойду.

Евгения. Нет, иди! Обязательно иди!

Марат. Почему — обязательно? Пусть дискуссия без меня.

Евгения. Не в этом дело.

Марат. А в чем?

Евгения. Не скажу.

Марат. Нет, скажешь!

Евгения. Ну ладно, так и быть. Вот ты не пойдешь — и будешь жалеть.

Марат. Что ты!

Евгения. Нет, будешь! В самой глубине души — будешь. С этого и начинается раздражение, потом скука, потом... Вообще, это стандарт-

ная ошибка всех женщин. А я хочу наоборот. Лучше ты пожалей, что не остался со мной. Лучше обо мне скучай. Понял?

Марат. Ты, однако...

Евгения. Хитра, как всякая женщина. Завтра в четыре придешь меня проводить.

Марат. Обязательно. *(Целует ее.)*

Евгения. До завтра, милый. *(Марат уходит. Пауза.)* Мог бы все-таки и не ходить на это свое совещание!

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Столовая Бушуевых. Тамара и Бушуев раздвигают стол.

Бушуев. Вот так все усядутся. *(Смотрит на часы.)*

Тамара. Скоро прибудет царевна.

Бушуев. А этот где?

Тамара. «Этот» не опоздает. *(Звонок.)* Наверно, он.

Бушуев. Я пошел салат готовить.

Уходит на кухню. Тамара идет открывать, возвращается с праздничным Якимовым. В руках у него букет.

Марат. Все: и астры, и хризантемы, и гладиолусы. Знаешь, как добывал? Подъехал в одно хозяйство. Из конторы направляют в оранжерею. Там симпатичная вроде девушка, а сразу мне: «С той стороны цветы не продаются. Выбирайте вон из этих». И предлагает самый унылый ширпотреб. Я тогда: «Ах, извините! Совсем забыл! Вас к телефону вызывают, там в конторе». Она ушла. Я не торопясь составил букет.

Тамара. А вернулась?..

Марат. Произнесла, конечно, краткую, сильную речь. Но речь не стенографировалась. *(Смотрит на часы.)* Едем, машина внизу.

Тамара. Церемониал встречи поручен вам. Мы с Антоном Петровичем готовим торжественный ужин.

Марат. Что ж, горд порученной миссией.

Уходит, появляется Бушуев.

Бушуев. Уехал?

Тамара. Да.

Бушуев *(оглядывает стол, который Тамара успела накрыть, разговаривая с Маратом)*. Все в норме. Горючее соответствует. Надо рыбы

да колбасы еще подрезать. (Звонок.) Я открою. (Уходит и возвращается вместе с Иваном.)

Тамара. Явился — не запылится!

Иван. Это у нее вместо приветствия.

Тамара. Чего ж пришел, когда все готово!

Уходит на кухню.

Иван. То поздно, то рано — ни разу в точку!

Бушув. Но мы же прекрасно управились.

Иван. Значит, реакция на меня. Чисто нервно.

Тамара (входя). Поставила чайник — газ кончился.

Бушув. Сейчас баллон заменим.

Иван. Пригожусь как рабочая сила.

Уходят на кухню. Некоторое время сцена пуста, затем входит Евгения, ведя за собой Степана.

Евгения. Вот я и приехала!

Степан (снимает кепку). Здравствуйте!

Евгения. Сюда, сюда, Степан! Ага, стол накрыт. Здесь, конечно, не один отец действовал. Но где же они все? (Открывает дверь в комнату.) Никого! (Бежит к другой двери.) Как и следовало ожидать, все на кухне. Что бы такое устроить?

Степан. А может, не обязательно устраивать? (Звонок.)

Евгения. Спрячемся! (Тянет Степана.) Сюда! В кладовку!

Степан. Что вы! Неловко!

Евгения. Ловко! Ловко!

Степан. Не личит, Евгения Антоновна!..

Скрывается в кладовке. Входит Бушув.

Бушув. Звонили, кажется. (Смотрит на часы. Сразу становится домашним, суетливым.) Наверное, Генка!

Уходит открывать. С кухонным ножом вбегают Тамара, за ней Иван.

Тамара. Приехала?

Входят Бушув и Марат.

Бушув. Странно.

Иван. А где же Генка?

Марат. Очень прошу задавать вопросы полегче.

Тамара. Школьники-то приехали?

Марат. Конечно. Поезд пришел, ребята из вагонов посыпались. Вы, говорю, не из двести пятой школы? Из двести пятой. Жду. Смотрю: две учительницы выходят. «Где же, — спрашиваю, — Евгения Антонов-

на?» — «Колхозными делами заинтересовалась». Это одна. И с такой загадочной усмешечкой. А другая: «И некоторыми колхозниками, с которыми отправилась на машине. А букет мы можем принять»... Сунул я ей этот букет, она — мне обратно: «В водичку поставьте, кто ее знает, может, еще и пригодится»...

Тамара. Узнаю Генку!

Бушуев. А я ей салат приготовил...

Иван. Бывает...

Бушуев (*Якимову*). Где же все-таки она? Неужели вы не могли точно узнать...

Марат. Я так и полагал, что окажусь виноватым.

Бушуев. Ну погоди, Генка! Вечно вяжется в какие-то дела, которые ее не касаются!

Тамара (*с юмором*). В кого бы она такая?

Бушуев. Все-таки я ее не совсем понимаю...

Иван. А чего тут не понимать, Антон Петрович! Появись Генка вместе со всеми — было бы удивительно. А если бы сейчас распался потолок и она оттуда — шашь, это была бы норма.

Из кладовки выходит Евгения.

Евгения. Ну зачем же с потолка? Можно и сквозь стену.

Бушуев. Генка!

Марат. Евгения!

Иван (*насмешливо*). Евгения свет Антонсына!

Тамара. Ну, и чего ты там сидела?

Евгения. Узнавала, как вы ко мне относитесь. Хуже всех, оказывается, отец. Салатом попрекал и до угроз дошел. И еще нашлись тайные недоброжелатели. «Задавайте вопросы полегче».

Бушуев. Дурочка. Вот дурочка! И не скучно тебе там было?

Марат. Это и я хотел спросить.

Евгения. А я там не одна.

Бушуев. Это как еще не одна?

Тамара. Кто там у тебя?

Евгения. Человек, разумеется.

Бушуев. Какой человек?

Евгения. Молодой и красивый.

Марат. Чего же он не выходит?

Евгения. А я ему запретила, пока не позову.

Иван. Тогда позови.

Евгения. А вам интересно?

Бушуев. Генка!

Евгения. Публика неистовствует!

Бушуев. Я...

Марат. Антон Петрович! Неужели не понимаете, что она нас мистифицирует!

Евгения. Я мистифицирую? Степан, явитесь народу! (*Имитирует нечто вроде марша*). Трам-трам-там-там...

Степан (*появляется из кладовки*). Здравствуйте...

Иван. Если не шутите...

Бушуев. Чего же вы... э-э-э... там сидели?

Степан. Евгения Антоновна велела.

Иван. Ну, Генка! С тобой не соскучишься!

Бушуев. В какое положение ты ставишь человека!..

Тамара. Явившегося народу...

Евгения (*светским тоном*). Действительно! Я вас даже не познакомила. Это механик колхоза «Красное поле» Притаежного района... Мой папа.

Степан. Степан. Если полностью — Степан Степаныч.

Евгения. Пенсионер республиканского значения и человек на редкость ровного характера.

Бушуев. Ну погоди, Генка! (*Степану*.) Очень приятно. Как вы сказали?

Степан. Степан, для удобства — Степаныч.

Марат (*добродушно*). У вас и фамилия, для удобства, Степанов?

Степан. Нет, мне придется вас огорчить. Соловейко моя фамилия.

Евгения. С Тамарой вы знакомы. Она у нас молчит, но, как папа говорит, дела за нее выступают. Ивана помните?

Иван. Я лучше запомнил.

Степан (*негромко*). Ну как, «мы с Тамарой ходим парой»?

Иван (*так же*). А кривая все в сторону?

Евгения. Марата вы тоже имели счастье...

Марат. Но я всегда горел желанием иметь твою характеристику.

Евгения. Я в деревне частушкам научилась. Вот прелесть!

Я за то люблю Марата,
что головушка убрата.
Лицо бело, румяно,
разговариват умно.

Марат (*поклонился*). Благодарю!

Бушуев. Давайте-ка к столу, дорогие гости!

Евгения. Нам надо умыться. Запылились в дороге.

Бушуев (*Степану*). Идемте, я вам покажу ванную. (*Уходят*.)

Евгения. А где мой салат?

Тамара. Сейчас будет. (*Уходит на кухню*.)

Иван. Я на кухне сигарету забыл.

Евгения. Впредь, если будешь такими предложениями пользоваться, посмотри, что у тебя в руках.

Иван (*мнет в руках сигарету*). Это не то...

Евгения. Вот именно!

Иван уходит.

Марат. Наконец, мы одни. Ну, здравствуй! (*Целует ее.*)

Евгения. Не надо. Я грязная, пыльная..

Марат. Совсем не соскучилась?

Евгения. Не знаю. Честно сказать, было некогда.

Марат (*не без иронии*). Понимаю, страда.

Евгения. Если бы ты знал, что такое страда! Это такой порыв, это, действительно, захватывает! Вот Степан...

Марат. Впечатлениями о Степане тебе уместнее поделиться с кем-нибудь другим.

Евгения. Ого! А ведь его приезд прямо касается тебя.

Марат. Я это уже ощутил.

Евгения. Чудак! (*Целует его.*) Ты знаешь, как плохо без тебя! А тебе? А как ты жил без меня?

Марат. Уж и не верю, что догадалась спросить. Как жил? Работал и ждал тебя.

Евгения. А надо наоборот. Ждать меня и работать.

Марат. Было и наоборот. И при этом ни одна девушка ни прямо, ни косвенно тебя не касается.

Евгения. Чудо мое! Да ты знаешь, зачем он приехал? У него рекламации к заводу. Они касаются именно тебя. И я их поддерживаю.

Марат. (*сдерживая смех*). Ты поддерживаешь... Ты... Угрожающее положение!

Евгения. Нет, ты не смейся!

Марат. Эх, маленькая ты моя Генка!

Евгения. Вот ты смеешься... Ты не видел, как люди плачут, когда осыпается хлеб. А комбайны стоят...

Марат. Ну, извини тогда. Может, я, действительно, неуместно. Разберемся. Что от нас зависит — поможем!

Входят Бушуев, Тамара с салатницей, Иван.

Иван. Торжественный внос бушуевского салата.

Бушуев. Хотя ты, Генка, салата и не заслужила.

Евгения. Неужели придется есть незаслуженно?

Тамара. Я думала, скажет: «Неужели придется отказаться?»

Бушуев. Ты ее плохо знаешь!

Входит Степан.

Степан. Большая благодарность. Отличное это изобретение — ванна.

Иван. Конечно, конечно! Вот и резинка на карандаш тоже.

Степан. И резинка. Жаль только — не всякое слово можно стереть.

Иван (*не находя, что ответить*). Думаете?

Марат. Что, Иван Сергеевич, съели саранку? Так, кажется, в деревне говорят?

Бушуев. Как нынче хлеба-то?

Степан. Особо хвалиться нечем.

Евгения (*уходя*). А по сто пудов с гектара собрали.

Бушуев. Неужели по сто?

Степан. Ну, если на круг. А где бывало и помене.

Бушуев. Значит, где и поболе.

Степан. А где и помене. Да и без потерь не обошлось.

Бушуев. Чего ж так?

Степан. И сами, конечно, кой-чего проворонили и главное — с комбайнами новыми не сладим.

Бушуев. С комбайнами? Это с какими же?

Степан. Да с вашими. Они у нас испытания проходили.

Иван. Что, не умеете эксплуатировать?

Степан. Может, и не умеем. Инженеров у нас не ахти как много.

Марат. А есть?

Степан. Есть... (*Помолчал.*) Я один на весь колхоз, да и то пока без диплома. На четвертом курсе учусь. Но ведь опять же, как я думаю, стоит ли такие машины делать, чтобы возле каждой инженера ставить.

Бушуев. Инженера ставить не надо. А правила эксплуатации надо выполнять.

Марат. Ну, я думаю, это Степан не хуже нас знает.

Ива ч. Знать-то знает. А все-таки, если за ней не следить, никакая машина, даже лопата, не выдюжит.

Степан. Ну, лопата — это, скажем, не машина, просто приспособление...

Иван. Спасибо за разъяснение, но это дела не меняет.

Бушуев. Генка и тут отличилась. Гостя нам привела занятного.

Иван. Этого гостя знаем. Мужик он здоровый. (*Добродушно.*) Только пусть на завод с рогатиной не прет.

Тамара. Если даже рогатина под одежкой — все равно обломает.

Степан. Да что вы! Разве я с рогатиной? Я на общую пользу. Чтобы и вам помочь.

Тамара. Спасибо.

Бушуев. Дискуссия у нас, я смотрю, беспредметна. Так можно долго перебрасываться.

Марат. Вот и мне хотелось бы узнать, в чем суть.

Степан. Вас конечно интересует техническая сторона...

Входит Евгения.

Евгения. Нас сейчас интересует только техническая сторона при-
нятия пищи. Все за стол.

Марат. Я чувствую, что нам недоставало именно единоначалия.

Степан. А я ведь тоже хотел вас угостить. Арбузишка тут завалял-
ся с наших бахчей. *(Идет в прихожую, возвращается с огромным арбу-
зом.)* Да яблоки еще... *(Приносит корзину яблок.)* Скороспелка. Не
знаю, какова нынче. Недосуг было и попробовать.

Бушуев. Спасибо. Гляжу, деревня живет неплохо.

Степан. Куда уж там...

Евгения. Начнем все-таки с салата.

Степан *(Тамаре)*. Вам сухого?

Тамара. Спасибо.

Бушуев. А вам?

Степан. Желательно «Столичную».

Марат. А я, грешный, все коньяк.

Степан. Значит, подоржание-то его прямо против вас направ-
лено.

Иван. За кем первый тост?

Пауза.

Евгения. Ну что же, если все такие нерешительные, тогда, разре-
шите, я скажу скромный тост. За мой приезд!

Тамара. Правильно! Самозванцев нам не надо. Только ты, Генка,
забыла про свои успехи.

Бушуев. На тебе, я уверен, все держалось.

Степан. Все не все, а помощь нам Евгения Антоновна со своими
ребятами оказала изрядную.

Евгения. Слыхали? Евгения Антоновна!

Степан. Они и отдыхали-то только, когда комбайны остановили...

Евгения. Эх, Степан! Рано я вас из кладовки выпустила.

Марат. Пусть все-таки скажет, почему они их останавливали.

Евгения. Ну вот!

Бушуев. Нет, это, действительно, интересно.

Степан. Дело...

Евгения. Комбайны-то останавливали, а их теперь не остано-
вишь.

Степан. Дело тут такое. Стали мы замечать: как наша машина часов двести проработает — начинает барахлить. Двигатель, значит, затрясется весь, как овечий хвост.

Евгения. Сильная терминология у Степана!

Бушуев. Дело не в терминологии. Отчего он затрясется-то?

Степан. А как мы полагаем, есть там такое устройство. Уравновешивающее.

Иван. Что?

Марат (*Ивану*). Ты что-то хотел сказать?

Иван. Нет... Я... нет... Ничего...

Степан. Так вот в нем и вся закавыка.

Бушуев. Интересно. Но почему же решили, что именно в нем?

Степан. А мы опыт провели. Так сказать — эксперимент. С одного комбайна сняли это самое устройство.

Тамара. И двигатель перестал трястись?

Степан. Да нет — трясло его так же.

Бушуев. Позвольте, что же вы этим доказали?

Евгения. Действительно, Степан?..

Степан. А этим мы ничего не доказали.

Пауза.

Евгения. Почему никто не ест, не пьет?

Бушуев. Может быть, мы поднимем тост именно за этот этап ваших ценных наблюдений? (*Выпивает.*) Так...

Евгения. Подожди, папа!..

Марат. Судя по манере нашего уважаемого оппонента, главное должно воспоследовать.

Степан. Главное — нет, не знаю. Только на двух других комбайнах мы этот самый механизм оставили.

Марат. И опять мотор трясло, как овечий хвост?

Степан. Да нет, хуже. Авария получилась. Заклинило коленвал, покорежило там все.

Евгения. Вот!.. Я сама видела! (*Марату.*) Что ж ты молчишь?

Марат. Твое свидетельство особенно ценно. Но ведь такие-то вещи бывают от самых различных причин.

Степан. Это верно. Только это же наблюдали мы и на других машинах. А когда стали их разбирать, заметили, что на всех погнулся валик уравновешивающего механизма, ослабили крепления. Вот тогда-то нам пришлось упреждать аварию, две другие машины останавливать, механизмы эти снимать. Тут, значит, и потек наш хлебушко...

Бушуев. Интересно.

Евгения. Ну, что ты скажешь, Марат?

Марат. Трудно что-либо сказать. У одного моего приятеля рука.

болела. Считали, от ушиба. Грели ее, мазали. А выяснилось — это желудочное.

Степан. Бывает, конечно, что и бык летает. (Пауза.) Но вот коли байки рассказывать — один мой приятель тоже этак лет несколько назад обратился не на ваш, а на другой завод по поводу мотора. А ему вопросик: «Центрифугу чистил? Через сколько моточасов?» Он: «Часов через двести». — «А надо через шестьдесят». И с приветом! Так что, я думаю, рука сама по себе, а желудок сам по себе.

Марат. И это возможно...

Бушуев. Подозрительно слабо вы защищаете свое детище.

Марат. Оно в защите не нуждается.

Евгения. Ну, Марат, это просто отговорка. Тогда...

Марат. Что тогда?

Евгения. Запишем тебе поражение.

Марат (по своему обыкновению собрался, как для прыжка. Говорит тихо, но весомо и наступательно). Пожалуйста. Только можно мне тоже один вопрос?

Степан. Сколько угодно. Как говорят, весь внимание.

Марат. Так для чего вы снимали эти уравновешивающие устройства?

Степан. Я же объяснял.

Марат. Я не о том. Не совсем снимали, а еще до этого. Вы же дважды их снимали?

Степан (растерявшись). Откуда вы знаете?

Марат. Представьте себе, знаю.

Степан. Откуда все же?

Марат. А иначе они бы у вас работали.

Степан. Ну, когда моторы начали вибрировать. Мы хотели посмотреть, не поломались ли шестерни.

Марат. Все ясно. Устанавливали вы их по зазорам?

Степан. Нет. Это нет.

Марат. Вот вам и разгадка. Самая простейшая.

Степан. Неужели маху дали, а?

Марат. Да уж дали. Дело-то ведь не простое. Они ведь у нас тоже государственные испытания проходили.

Степан. А можно мне, Марат Георгиевич, результаты посмотреть?

Марат. К вашим услугам.

Степан. А с людьми побалакать, которые испытывали?

Марат. И они к вашим услугам.

Степан. Неужели это мы так обмишурились?.. Да, неважно я со стороны-то смотрю. Ну, спасибо вам, хозяева, за хлеб, за соль. (Встает.)

Бушуев. Куда же вы так заспешили?
Степан. Да тут у меня дел много. Вот Евгения Антоновна знает...
Я еще зайду, если позволите.

Уходит. Евгения его провожает.

Бушуев. Парень неглупый.
Тамара. Мне даже вначале показалось, что он прав.
Бушуев. Показалось... И мне показалось. Но я-то был уверен, что
Марат Георгиевич выйдет победителем.
Марат. Спасибо.
Бушуев. Не можете же вы оказаться побежденным.
Марат. Не могу. Уж если кого этим разочарую — извините.
Тамара. Спор-то вроде еще не окончен.
Евгения (*возвратившись из прихожей, не без важности*). Во всяком
случае, у меня он посеял сомнения.
Иван. Неужели?
Тамара. Это серьезно.
Марат (*иронически*). Вот я и говорю: угрожающее положение.

Занавес.

КАРТИНА ПЯТАЯ

Квартира Бушуевых. На сцене Евгения, Тамара, Иван.

Иван. Долгонько не едут.
Евгения. Интересно, что после этого Степан скажет?
Иван (*уклончиво*). Кто его знает?
Тамара. Крутишь чего-то.
Иван. Кто? Я?..
Тамара. Нет, я.
Иван. С чего взяла-то? Чего я кручу?
Тамара. Хвостом виляешь.
Евгения. Томка! Ну что ты набросилась! С какой стати ему
вилять?
Тамара. Сама не знаю.
Иван (*ворчит*). Ну ведьма.
Тамара. А ты...

Звонок.

Евгения. Они! (*Идет открывать. Доносится ее голос.*) Заходите,
заходите, Степан.
Голос Степана. Да вообще-то ни к чему.

Входят Евгения, Степан, Марат.

Марат. Подозреваю, что есть смысл.

Степан. Какой же?

Марат. Да вот, кажется, не только у меня такое ощущение, что недостает заключительного аккорда.

Степан. Я, знаете, не музыкант.

Марат. А на нервах-то, на нервах!

Степан. Опять же не лучше многих.

Марат. Скромничаете.

Голос Бушуева. Генка! Где ты там?

Евгения. Сейчас. Степан, не уходите!

Степан. Все жаждут крови и зрелищ. И даже вы, Евгения Антоновна. А уж перед вами-то мне представать дураком вот как неохота!

Евгения идет в комнату Бушуева, но он сам выходит ей навстречу.

Бушуев. Квартира небольшая, а кричишь всегда, как в пустыне. Где газеты, Евгения?

Евгения. Еще не приносили сегодня.

Бушуев. О, да вы приехали! Кто со щитом, кто на щите?

Степан. Поднимаю руки.

Бушуев. Так чего же мы стоим? Проходите.

Степан (обреченно). Это уж решено.

Бушуев. Хотелось бы услышать подробности.

Евгения. Не мешало бы.

Степан. Может, Марат Георгиевич лучше расскажет...

Евгения. Не узнаю вас, Степан. В первое посещение вы были словоохотливее.

Иван. Бросался на нас орлом с неба.

Марат. Орлом-иронистом...

Степан. Вижу, все ж таки я не зря сюда приехал. Цирку-то в вашем городе давно не было. Вот распотешил всех...

Марат. Ну, если в этом была цель экспедиции...

Евгения. Как все-таки ты его переубедил?

Марат. Не я. Я только познакомил Степана Степановича с нашими ребятами, которые провели испытания. Показали ему документацию. Комбайны работают и по триста часов и по пятьсот — этому самому уравновешивающему механизму ничего не делается. Прочитал Степан — вижу, не верит. Поговорил с одним парнем. Вижу — не верит. Я его к другому — вижу, не верит. Я к третьему. Как это говорят в Сибири, обратно не верит. Тогда я понял...

Степан. Это-то, пожалуй, и раньше можно было догадаться...

Марат. Виноват. Не тот интеллект... Короче, понял: надо уйти. Уж какими путями обретались дорогим нашим оппонентом исти-

ны, свидетельствовать не могу. Но через пару часов явился он с заявлением о полной и безоговорочной капитуляции. С единственной просьбой о помощи.

Бушуев. Помочь, конечно, надо.

Евгения. Однако Степан у нас сегодня очень уж молчалив.

Степан. Я и всегда.

Марат. Нет. Контраст разительный. Но жизнь вообще контрастна.

Степан. Ну что ж, откровенно сказать, побеседовал я с комбайнерами по душам.

Марат. По-моему, беседа была на нейтральной территории.

Степан. Да почуял я...

Иван. Что без пол-литра не разберешься.

Степан. То-то и оно. Что пьяный не скажет, то трезвый развяжет. Конечно, смешно это и глупо, но шишко уверен был я в своей правоте. И сейчас у меня не укладывается...

Марат. У меня, между прочим, не укладывается, что время — категория относительная. И вообще есть многое, Горацио, на свете... Вот был случай: двигатель перерасходует горючее. А в чем дело — никто понять не может. Я два дня возле этого комбайна бился. Механик рассказал: форсунка была неисправна, но ее заменили. Сам я убедился: больше никаких дефектов нет. На третий день еду с поля — в машине, чтобы отвлечься, взял у шофера «Огонек». Читаю статью какого-то хирурга. Статья об особенностях деятельности мозга. У человека поврежден нерв, наступил паралич. Нерв еще не восстановлен, но пальцы начинают двигаться. Мозг приспособился передавать импульсы другими путями. Меня как током ударило: может быть, и машина приспособляется к любому режиму. И в двигателе нашлись другие пути для передачи горючего? И что бы вы думали! Ведь именно так и получилось: нагнетательный клапан приспособился к режиму неисправной форсунки!

Степан. Понятно, во всяком деле есть профессор. Ну, надо мне извиниться...

Марат. Куда же вы спешите, Степан? Говорили, хоть год проживу... Но уж тогда надо вам устроить проводы.

Степан. Не заслужил.

Марат. Что вы! Мы, например, на заводе, где я работал, одному товарищу замечательные проводы устроили. Он все грозился, что мы булькнем. Модно было тогда такое выражение. Булькнете, кричал, и искупаются. И вот, когда претензии его оказались необоснованными и мы его провожали — вручили ему небольшой подарочек. Кое-какие магниты там были. И пришлось этому гостю проходить через три двери, и везде, знаете, на пороге, только он ступит, бьет струя воды, небольшая, в общем.

Степан. В пару ведер?
Бушуев. Будьте осторожны. Что-то он опять задумал.
Степан. Я готов...
Марат. К шриятию мученического венца.
Евгения. Ну, вероятно, хватит.
Марат. Кругом у вас защитники, Степан. Но я тверд. Деяния ваши вызывают к мести. (*Евгении.*) Могу я попросить ваш магнитофон?
Евгения. Пожалуйста, вот он стоит.
Марат. Тут текст заготовлен для всех, кто злоумышляет против нашего конструкторского бюро.
Степан. Это что же, расписка какая?
Евгения. На взыскание с колхоза.
Степан. За что?
Марат. Как за что? За бесчестие.
Степан. Неужто деньгами платить?
Марат. Можно и натурой.
Степан. Ну я ж, я ж... Того...
Марат. Кого?
Степан (*находит выход*). А я не уполномочен.
Иван. Он только с завода требовать уполномочен.
Степан. А, ладно... Мы не постоим...
Евгения. Степан! Они же шутят.
Степан (*иронически*). А я всерьез. Я человек деревенский, все, как есть, за истинную правду принимаю.
Марат. Хитер, Степан, а промашку все ж таки дал. И должен это для потомства запечатлеть.
Степан. При посредстве магнитофона?
Марат. Именно. Вот текст. Вот магнитофон.
Степан. Я...
Марат. Здесь следует ваша фамилия, имя, отчество должность.
Степан. Я...
Марат. Читайте внятно. С подъемом.
Степан. Какой уж тут подъем!
Марат. Ну, с должным смирением.
Степан. Я, Соловейко Степан Степанович, главный механик колхоза, наученный огнедыхательным диаволом, лукавым змеем, поедателем душ человеческих, рискнул совершить посягательство на честь завода, каковой шлет нам всю необходимую в наш атомный век технику... (*приостановившись*) за что мы его кормим и поим.
Марат. Этого в тексте нет.
Степан. Зато в жизни есть.
Бушуев. Правильно, Степан, в обиду себя не давайте.

Степан. За что мы его кормим и поим. Признаю, что как только открылась мне истина, рук для сечи у меня не стало. Понял я всю свою вздорность досадительную и не только сам не буду затевать усобицы, но детям и внукам своим в этом наказ оставляю...

Марат. Все! Прокрутим!

Те же слова повторяются на пленке.

Степан (*серьезно*). Шутки шутками, а не гожусь я, видимо, в главные механики.

Марат. Почему же?

Степан. Уж тут смеяться не следует. Тут дело серьезное.

Марат. Как к нему подходить...

Степан. Тут не подходить, тут отходить надо.

Евгения. Ну, что вы, Степан! Вас в колхозе так уважают.

Степан. Вот и уйду, пока уважают.

Бушуев. Уходите, Степан. Не вступайте в ряды язычников. Вы хотя и атеист, но по происхождению, надо думать, христианин.

Марат. Не понял вас.

Бушуев. А мудрости здесь большой нету. Дело весьма простое и, к сожалению, распространенное. Когда человек должности своей не соответствует, всю энергию тратит он на то, чтобы держаться за кресло. Руки у него при этом, естественно, заняты, и для служебной деятельности свободным остается один лишь язык.

Степан. Нет, Антон Петрович, в такие язычники переходить не собираюсь. А вот работу поищу попроще. Машинистом пойду на ток или электриком. Плотником могу. Эх, если б мне убытки колхозу возместить!

Марат. Стратотерпцы вроде теперь не в моде.

Бушуев. А жаль!

Степан. Однако, пора мне.

Бушуев. Будете в городе, Степан, заходите. Всегда вам рад.

Степан. Спасибо. И до свидания. Загостился.

Евгения. Я провожу вас.

Степан. Не надо, не надо, Евгения Антоновна. Вот тут у вас пластинки, если позволите, я себе песню заведу на прощание.

Евгения. Пожалуйста.

Степан ставит пластинку. Мелодия, а потом слова: «Я на свадьбу тебя приглашу, а на большее ты не рассчитывай».

Евгения (*тихо Степану*). А еще грозился измором брать!

Степан. Не получилась, видать, осада. Побит, на всех фронтах побит!

Уходит.

Тамара. А парень-то стоящий!

Иван. Что же это, он теперь и работу бросит?

Марат. Не бросит.

Евгения. Бросит! Я его знаю.

Тамара. Да, похоже.

Бушуев. И правильно сделает!

Иван. Так это же...

Марат. Твоя забота... *(Иван стремительно выбегает за дверь.)*

Куда ты?.. Куда он?.. Ну Иван! Человек-загадка!

Евгения. Сам говорил: «Есть многое, Горацио, на свете...»

Марат. Так-то оно так...

Входит Иван, за ним Степан.

Иван. Нет, ты на минутку, Степан.

Марат. Новая загадка!

Иван. Загадки сейчас будем разгадывать. Короткий вечер вопросов и ответов.

Марат. Давай, давай!

Иван. Они простые, вопросы и ответы. Как говорится, элементарные. Первый: что случилось с колхозными комбайнами?

Евгения. Господи, опять!

Иван *(Степану)*. А то самое, что ты и думал.

Марат. Каков ясновидец!

Иван. Уравновешивающее устройство тебя подвело. Подводило оно и нас, потому что есть в нем конструктивный дефект.

Бушуев. Откуда это тебе все известно?

Иван. Это вопрос второй. Отвечаю. Мы столкнулись с этим на государственных испытаниях, тех самых, которые для доказательства вспоминал Марат Георгиевич. И, столкнувшись...

Марат. У поляков есть хорошая пословица: прежде чем куда-либо зайти, подумай, как оттуда выйдешь.

Иван. Вот я и думаю, как выйти.

Марат. Смотри, не ошибись дверью!

Тамара. А вы ему в поводьри не нанимайтесь. Он не слепой.

Марат. Вот как!..

Иван. Так я остановился на том, что мы с тем же столкнулись.

Степан. Если вы с этим столкнулись, почему это не отмечено в акте машиноиспытательной станции?

Иван. Третий и самый главный вопрос... Марат Георгиевич, может, вы на него ответите?

Марат. Что ж, и отвечу... Я привык отвечать за все, что делаю... В общем, это было так...

Наплыв

Вагончик на полевом стане машиноиспытательной станции. Из окна видны комбайны на просторном пшеничном поле.
На сцене Марат и Иван.

Марат. Рано руки поднимаешь.

Иван. Поднимай не поднимай...

Марат. Нет уж!.. Помнишь, как древние говорили: «Лучше потяту бити, нежели полонену быти»?..

Иван. Не тумкаю.

Марат. Ну, в общем, я не поклонник лозунговых формулировок, но есть такое понятие — честь завода. Ты со мной согласен?

Иван. Уважаю политучебу.

Марат. Другими словами, если из-за моего механизма не пустят этот мотор в серию, нас сразу отбросят в обоз. Прощай тогда все наши с тобой планы!

Иван. Вы так говорите, как будто это я, черт возьми, сагитировал механизм выходить из строя. И стоит мне ему подмигнуть...

Марат. И он встанет в строй.

Иван. Что?

Марат. Сегодня ночью мы его поставим — заменим новым.

Иван. Как заменим?

Марат. Как заменяют?

Иван. Это же... Нет, я на это не пойду!

Марат. Это, конечно, обман. Но будем считать его за военную хитрость.

Иван. Я в армии отслужил. Теперь штатский.

Марат. Штатский, да штатный. У меня в штате.

Иван. Не у вас.

Марат. Кругом прав! В конструкторском бюро... Как это вы отлично прописи усваиваете!

Иван. На большее не годимся.

Марат. Это самое обидное.

Иван. Говорите до конца, Марат Георгиевич.

Марат. Я уже сказал.

Иван. Спасибо. Значит: я тебя породил, я тебя и убью.

Марат. Все не так. Не породить, а возродить я тебя пытался. А убиваешь ты себя сам.

Иван. Что ж, я готов подать заявление.

Марат. И опять к тете Лене. Сверхгероизм!

Иван. К тете Лене! Знаете, почему я к тете Лене привержен? Она меня ногами не топчет.

Марат (удивленно). Вот как!

Иван. Вы ж людей подминаете, как букашек, и не чувствуете. Вы же...

Марат. Ах, бедный, раздавленный, уничтоженный!

Иван. Вот и раздавленный, и бедный. Да что тут... *(Хочет уйти.)*

Марат. Нет, подожди. Ты не актер: сказал под занавес, ушел под аплодисменты.

Иван. Могу и под свистки. Все едино.

Марат. А вот ты имей мужество выслушать... Так вот: на этом самом шарике, именуемом планетой Земля, идет сейчас великое противостояние. И победу сторон никто другой не решает — мы, техники. Нам сейчас у тети Лены отсиживаться некогда. «Чувствовать»-то подчас недосуг. Делать надо!

Иван. И потому пустить в серию брак.

Марат. Нет, не потому. А потому, что знаю, если хочешь, экспериментально проверил, что через несколько лет вообще отправлю эти телеги *(указывает на комбайны)* в утиль, в переплавку. Мне для этого только простор нужен. Самостоятельность нужна. Понимаешь?

Иван. Плохо.

Марат. Не прикидывайся! Мне нужно свое конструкторское бюро. А брак этот... Да ты разберись, в чем суть! Во-первых, кому от него убыток? А во-вторых, один вечер работы — и его не будет, брака.

Иван. А если не получится?

Марат *(презрительно)*. Если...

Иван *(не сразу)*. Не знаю я, Марат Георгиевич! Трудно...

Марат. Иди к тете Лене, там легко.

Иван. В цех я перейду.

Марат. Конечно, к станочку. Выбери попроще. Ноги будут участвовать, а голове свободнее. *(Пауза.)* Замену я эту сделаю без тебя. А ты для очищения совести сочини на завод письмишко. Есть там и такие, которых солидно обрадуешь.

Иван *(кричит)*. Ладно! Когда будем менять?

Снова столовая в квартире Бушуевых.

Марат. Вот так это было. И я надеялся, что обрел союзника...

Степан. Ошиблись! Обрести в таком деле можно только сообщника.

Евгения. Как же это?

Марат. Ну, ваша-то позиция разъяснений не требует.

Бушуев. Да и ваша не особенно сложна. Прежде всего — других конструкторов в утиль.

Марат. Не конструкторов, а конструкции.

Иван. Ну, а по пути и конструкторов.

Тамара. Ведаете, значит, в себе силы?

Марат. Ведаю.

Бушуев. Монопольные?

Марат. Зачем утрировать?

Тамара. А вот сколько, интересно, там моторов испытывалось?

Иван. Три.

Степан. Два авторских коллектива, выходит, по боку.

Бушуев. Важно, что человек в себя верит.

Марат. Вот именно! Если уж на то пошло...

Бушуев. Да чего там...

Марат (*он снова собрался, как для прыжка*). Если уж на то пошло, вы взяли меня судить, а любой подсудимый имеет право на защиту. Пусть скажет Степан: если бы не эта несчастная деталь, разве плохую машину мы ему дали?

Степан. Если бы да кабы...

Марат. Машина отличная! А эту деталь я надеялся исправить. И не моя вина, что мне не дали времени.

Бушуев. С чего бы вам его дали? Мотор прошел испытания, а что вы мошенничали — кто об этом знает?

Марат. Мошенничают, преследуют личные цели. Давайте уж говорить по большому счету. Что я это — для себя делал? Что я — элементарный карьерист?

Бушуев. Предположим, не элементарный. Значит, вам все средства дозволены?

Степан. Вот дела! Зазря это подножку-то запрещенным приемом числят. Ведь каждый борец в себя верит, а вот подножку противнику даст — и победу ему не засчитают.

Бушуев. А то и с соревнований долой.

Марат. Причем тут подножка!

Бушуев. Я вас, Марат Георгиевич, давно понял и почувствовал. Точно, вы не элементарный. Да кому от этого легче? От этого как бы не тяжелей было. Элементарный — с ним просто, его без микроскопа видать. А вот такой, как вы... У вас ведь и тактика и стратегия разработаны. И теоретическая база подведена. Вы же на пролом-то не полезете. Вы с дальним прицелом. Сначала человека из беды вытащите. Работу ему, квартиру ему. А потом пособника из него делаете в темных делишках.

Евгения. Папа!

Бушуев. Помолчи! Понял я манеру-то вашу. Она ведь и в мелочах, и в крупном одна. Выждать, собраться, ударить. И все будто ради дела. А дело-то вам нужно только для утверждения своей особы. И уж ради этого утверждения вы ни перед чем не остановитесь. И все у вас словами оправдано. Противостояние, борьба, честь завода! Да знаете ли вы, что это такое! Наш первый директор заводу жизнь отдал, и люди

его именем улицу назвали. О нашем парторге военных лет до сих пор легенды ходят. Карточки свои хлебные подросткам отдавал. Неделями из цеха не выходил. Переехал в новый дом, а на заводе авария. Он сразу туда. Как-то вечером встречаю его — идет, фонариком подъезды освещает. «Ты что?» — «Квартиру свою ищу». — «А давно там живешь?» — «Дней десять как перебрался...» Нет, завод вы наш не троньте. Завода лучше не касайтесь! Да, впрочем, что я вам говорю! Я говорю, а вы думаете, как вам из этого положения победителем выйти. И выйдете, я уверен...

Евгения опускается на пол.

Степан. Евгения Антоновна!

Бушуев. Что это! Доченька! Генка!

Марат. Ваши проповеди!

Тамара. Генка, что с тобой?

Степан (*дает Евгении воду*). Расстегните ей платье. (*Тамара расстегивает.*)

Иван (*открывает окно*). Надо больше воздуху!

Бушуев. Никогда не бывало. Может, врача? Скорую помощь...

Евгения. Ой, что это со мной?

Степан. Вызвать скорую?

Евгения. Никого не вызывайте. (*Пауза.*) Все равно я его люблю! Все равно!..

Зачавес.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Столовая в квартире Бушуевых. Обстановка та же. Только посредине комнаты чемодан. Звонок. Вбегает Евгения.

Евгения (*смятенно*). Неужели он?.. Я же еще не готова. (*Идет открывать, возвращается обратно с письмом*). Откуда это?.. Краснополье... Степан Соловейко... Ах, Степан, Степан... До вас ли теперь!

Кладет письмо в кармашек платья. Снова звонок. В смятении кружит по комнате. Идет открывать. Возвращается с Тамарой.

Тамара (*взглянув на чемодан*). Уходишь?

Евгения. Да... Ну пойми меня. Я еще раньше смеялась над этим. Нельзя же так: хороший производственник — любишь. Плохой — разлюбила. Так теперь даже в самых плохих книгах не бывает. Ну, разве я не права?

Тамара. Права.

Евгения. И папа потом поймет. Он же не раз Марата и зря осуждал. Ведь правда?

Тамара. Правда.

Евгения. Завод. Конструкция. Рекламация. Регулирующее устройство. С этими словами язык сломаешь. Какое мне дело до всех этих слов! Вот они два часа рассуждали — хорошо он поступил, плохо. Меня до обморока довели. А какое мне вообще дело, что он конструктор! Я не за конструктора замуж выхожу, а за человека. Я когда его первый раз увидела, мне показалось, что я даже ростом выше стала. Не веришь? И потом, когда он появлялся, мне всегда так казалось.

Тамара. Почему — казалось? Теперь что — не кажется?..

Звонок.

Евгения. Это он! Разыграть его, спрятаться?

Тамара. В ту же кладовку?

Евгения. Нет... Все не то... Тамара, иди открой.

Тамара. Открой сама. Я здесь, наверное, лишняя.

Евгения. Тамара! Почему ты меня не отговариваешь? Я ведь знаю: ты против.

Тамара. Зачем мне тебя отговаривать, Генка? Ты все сама понимаешь.

Снова звонок.

Евгения. Тамара, открой! Прошу!

Тамара идет открывать, возвращается с Иваном.

Иван. Антон Петрович дома?

Евгения. Нет его.

Иван. Тогда извините. *(Хочет уйти.)*

Тамара. Подожди.

Евгения. Теперь я лишняя. *(Уходит.)*

Тамара. Ты куда?

Иван. А тебе что?

Тамара. Я с тобой.

Иван. Нечего за мной ходить!

Тамара. Нет уж, теперь моя очередь.

Иван. Отстань!

Тамара. Не отстану. Теперь никогда не отстану.

Иван. Что?

Тамара. Не отстану — и все! *(Звонок.)* Это Марат.

Иван. Чего ему?

Тамара. Он за Генкой.

Входит Евгения.

Иван. Да ты чего — очумела?

Евгения (*после паузы*). Ну, я решила, ребята. Уходите, уходите! А то я залью весь пол слезами. Будет наводнение.

Тамара и Иван уходят в другую комнату. Евгения бежит открывать дверь, но возвращается.

Евгения (*вслед Тамаре*). Папе записку отдай. И будь с ним все время. А как он разрешит, я сразу прибегу.

Снова настойчивый звонок. Евгения бежит в прихожую, возвращается вместе с Марагом.

Евгения. Ну вот, я собралась. Совсем собралась. Это мое приданое. Маловато. Ты ведь женишься исключительно из-за приданого?

Марат. Конечно. А где Антон Петрович?

Евгения. Его нет дома. Я потому тебе и позвонила. А ему оставила записку.

Марат. Романтично.

Евгения. Ты, кажется, смеешься?

Марат (*целует ее*). Что ты!

Евгения. Ты тоже... Ты тоже волнуешься?

Марат. Я не спал ночь.

Евгения. И я... А что ты видел во сне?

Марат. Если я не спал, что я мог видеть...

Евгения. Ах, да... А почему мы не идем?

Марат (*берет чемодан*). Давно пора.

Евгения. Подожди! (*Отнимает у него чемодан.*) А сегодня холодно на улице?

Марат. Немного свежо.

Евгения. А дождь не собирается?

Марат. Какое это имеет значение? Кстати, у подъезда машина.

Евгения. А... а какая машина?

Марат. Ролс-ройс, кадиллак, мерседес-бенц... Не все ли тебе равно?

Евгения. Я хочу знать, какая машина.

Марат. Ну, «Волга». Едем, наконец!

Евгения. Сейчас, сейчас... (*Та же игра с чемоданом.*) А тебе сегодня нужно на работу?

Марат. Нет, я взял выходной день.

Евгения. Это хорошо, что ты догадался.

Марат. Чудачка!

Евгения. А... я... я хотела от тебя спрятаться. Ну, вот туда, в кладовку.

Марат. Зачем?

Евгения. Ну, просто так.

Марат. Остроумно. Особенно во второй раз... Идем, Генка!

Евгения. Идем. До свидания, моя любимая комната. До свидания, сервант, и ты, стол, до свидания. И вы, стены, и часы, и картина. Все до свидания!

Марат. Ребенок ты, Генка.

Евгения. Я, к сожалению, давно не ребенок.

Марат. Идем.

Евгения. Идем. *(Уже от дверей.)* Марат, прости меня.

Марат. За что?

Евгения. Прости меня, Марат.

Марат. Да за что же?

Евгения. Я не могу.

Марат. Евгения...

Евгения. Я не пойду. Не хочу к тебе, Марат.

Марат. Генка! Но почему же, Генка!

Евгения. Не знаю.

Марат. Значит, ты бросаешь меня?

Евгения. Наверное...

Пауза.

Марат. Но я вправе спросить, почему?

Евгения. Ну если я не знаю.

Марат. Это все после той истории?

Евгения. Не знаю.

Марат. Но я же тебе объяснял, ты согласилась со мной.

Евгения. Да.

Марат. Тогда в чем же дело?

Евгения. Не знаю.

Марат. Ну едем, Генка, ну это же блажь!

Евгения. Я не могу.

Марат. Генка, ну это же не имеет никакого значения! Даже на парткоме ограничились выговором, который скоро снимут. *(Евгения молчит.)* А... Я совершенно поглупел с тобой. Едешь?

Евгения. Нет.

Марат. Это твое последнее слово?

Евгения. Да, Марат, последнее...

Марат *(раздражаясь)*. Нет, ты слишком дочь своего отца.

Евгения. Может быть.

Марат *(иронически)*. Рабочая закваска.

Евгения. А ирония тут не к месту, Марат.

Марат *(снова собравшись для решающего разговора)*. Генка!

Ну... Если ты поверила, что я карьерист, как говорит Антон Петрович, пробивист, хочешь — я на станок стану, слесарем, учеником слесаря.

Евгения. Нет, я ничего не хочу.

Марат. Может быть, все дело в Степане?

Евгения. Нет.

Марат. Не бросай меня, Генка!

Евгения. Марат, я не могу...

Марат. Это же неправда.

Евгения. Правда, я не могу. Ты знаешь, все куда-то ушло.

Марат. После этого? И ты больше не любишь меня?

Евгения. Не знаю. Нет, наверное... наверное. Не знаю я, Марат.

Уйди, прошу тебя!

Марат. Генка!

Евгения. Уйди, Марат!.. Уйди!

Марат. Генка! И ты не пожалеешь?

Евгения. Уйди!

Марат. Что ж... До свидания.. *(Уходит.)*

Евгения. Вот и кончилась Генкина любовь! *(Машинально кладет руку в кармашек платья.)* Что это? Ах да, письмо от Степана...

Конец.

ХУДОЖНИК

РАССКАЗ

Поздней осенью, когда в Сибири уже начались снегопады, я выехал на черноморское побережье Кавказа. Мне хотелось отдохнуть именно в эту пору: меньше сутолоки, шума, надоедливых случайных знакомств не только на самом курорте, но и в пути. И я с нетерпением ожидал, как стаю подолгу бродить по горам, усыпанным багряной листвой, или, сидя на камне у моря, слушать геворливую волну.

После Москвы вагоны опустели почти наполовину, и я многие часы проводил в полном одиночестве, с книгой. Попутчики появлялись лишь на короткие перегоны. Они перекидывались со мной обычными в дороге фразами, которые так же не задевали душу, как мелькавшие за окном телеграфные столбы.

На одной из крупных станций вторую нижнюю полку занял старичок среднего роста, лет уже за семьдесят, но еще удивительно бодрый, подвижный. Едва проводившие вышли из вагона и поезд тронулся, я невольно насторожился: вот сейчас непременно начнет выпрашивать, откуда и куда, женат или холост, почему да зачем. Разговор будет натянутым, пустопорожним, таким же монотонным, как перестук вагонных колес. Но попутчик примостился у столика и, пригладив седые волнистые волосы, стал задумчиво глядеть на проплывавшие мимо улицы города.

Вскорости явилась проводница и, взяв у него билет, для порядка спросила:

— Значит, на Кавказ, папаша? Из Сибири?

Он закивал головой:

— Да, да, голубушка.

— Ого! — удивился я. — Выходит, земляк. — Присмотрелся к старику получше, и его лицо, тонкое, худощавое, в редких крапинках оспы, мне даже показалось немножко знакомым. Только почему же он сел-то на этой

станции? Видимо, денек или два погостил у родных либо хороших знакомых, которые и нагрузили его набитыми до отказа кошелками.

С этих кошелок и завязалось наше знакомство. Мой спутник извлек яблоки, банку с медом, жареную курицу и прочую снедь и, посмотрев на меня приветливо, сказал:

— Давайте-ка, земляк, перекусим — тут на полвагона, пожалуй. До курорта все равно одному не осилить.

Я крайне удивился, что он сразу, ни с того ни с сего, назвал меня земляком, и это не ускользнуло от взгляда его ореховых чуть прищуренных глаз.

— Да мы же, голубчик, соседи, — пояснил он немедленно. — Вы живете в пятнадцатом доме, а я — в семнадцатом, да и мой сын кончал тот же институт, что и вы. Помните, наверное, Виктора Полякова?

— А как же! — подхватил я. — Он у нас в группе старостой был.

— Вот видите, — заулыбался старик. — Значит, правду говорят: только гора с горой не сходится...

Мы плотно поели, выпили чаю, который нам принесла проводница, и разговорились. Когда я спросил, почему он прервал на время поездку, Семен Михайлович — так звали моего собеседника — воскликнул:

— О, это история долгая! Впрочем, если хотите...

Отступить было поздно, и, отложив книжку, я приготовился слушать.

— Вы уж, голубчик, простите, ежели где запнусь или помолчу, — заговорил он взволнованно. — Тут, понимаете, такое, что до сих пор никак в себя не приду... А началось это в нашем городе еще в восемнадцатом году. В конце мая белогвардейцы, хоронившиеся в подполье, подняли с меньшевиками и эсерами мятеж и захватили в городе власть. Тотчас повылезала наружу всякая гнусь и запенилась бешенством. И каждый из таких «бывших» так и норовил хоть чем-нибудь отомстить революции. Начались аресты, расстрелы, бесчинства. За решетку побросали первого председателя горсовета Романова, комиссаров Серебrenникова и Горбаня, красногвардейского командира Бульвинского и многих других.

Нашей тюрьмой была прежняя солдатская казарма в военном городке — мрачная махина на высоком, обрывистом левобережье Бурлинки. Первый этаж заняли охранники, на второй втиснули арестованных: в восточное крыло — около трехсот венгров из батальона имени Маркса, в западное — столько же примерно красногвардейцев да партийных и советских работников. А раздробили ясно почему: чтобы оградить мадьяр от повседневного влияния большевиков.

Содержали нас хуже отъявленных уголовников. Порой мы лишались то одного, то другого товарища. Но ни горю, ни отчаянью не давали вцепиться в душу. Иногда в тюрьму проникали, подобно свежему ветерку, добрые вести о забастовках и крепнувшем подпольном горкоме. А однажды дошло решение конференции партийных организаций всей Западной

Сибири. Ее проводило оргбюро, созданное посланцем самого Ленина — Францем Суховерховым. И вот тут мы и вовсе воспрянули духом. У нас появились и штаб, и боевые десятки, и стал зарождаться план восстания.

В мою десятку влилась в основном молодежь, да и я сам тогда еще за двадцать не перепрыгнул. Самым юным считался паренек из марксовского батальона. Удивляетесь, почему считался? Жизнь обкусала его и с фронта, и с тылу, и с флангов. Где-то, кажись, под Казанью, он и сам точно не помнил, скосила родителей хворь — то ли сыпняк, то ли холера. От запойного дядьки смотался в соседнюю деревушку, а оттуда пошел по свету — побирушкой был, беспризорничал, пока, наконец, с этих глухих протселков и тропок не выбрался на главный большак — не притерся к рабочему берегу. Не знал ни фамилии своей, ни года рождения. Звали его Николаем, а для полноты еще и Безродным. Все-таки человек, не скотина...

А человек вырастал из него хороший. Правда, телом был неказист: плечи узковаты, ноги будто тростинки, в поясе — как девчушка, лицо худощавое, остроносое. Зато характером, духом — что твой алмаз! Тюремщики не вышибли из него на допросах ничего, кроме двух передних зубов, хотя и колотили убойно, как взрослого. Ничто не могло затушить и его веселого нрава. В родниково-синих глазах Николая плескался неистрепимый буйный задор, а взгляд до того был цепким, что моментально впитывал каждую мелочь. Николай часто копировал то чью-нибудь походку, то жесты, то мимику, да так уморительно, что мы хохотали до коликов в животе. Эти его сеансы начисто снимали с души всякую ржавчину.

Нас он копировал дружески, со смешинкой, а надзирателей, офицеров — этих прохватывал до костей. Помнится, кончилась как-то поверка, и подпоручик, совсем еще зеленый, долговязый и тонкий, как штырь, с усиками на английский манер, развернулся волчком и дрыгающей, ломкой походкой зашагал восвояси. Не успел он выйти, как камера грохнула в триста глоток. Подпоручик мигом обернулся, ошалело воззрился на нас, но мы уже стояли как ни в чем не бывало. Невинную позу принял и Николай, только что весьма картинно изобразивший офицера. Ничего не поняв, подпоручик вдруг сконфузился, зачем-то скользнул по мундиру взглядом и опрометью выскочил за дверь, сильно стукнувшись при этом о косяк. Возможно, подумал, что в его туалете какой-то катастрофический беспорядок...

Все это Николай делал, как говорится, походя — легко и беззаботно. Но был у него и талант, к которому он относился не по годам серьезно. Да, да, голубчик, талант, а не пустяшная забава или обычное житейское увлечение, которое, как и веснушки, бесследно проходит с годами. Он умел рисовать, и в рисунках уже проклеивалась та собственная свежинка, без чего нет настоящего, самобытного художника. Все в них было: движение, порыв, устремленность. Особенно удавались глаза. Бывало, нарисует их без лица, с одними ресницами да бровями, и человек узнавал себя

сразу: «Так это же я! Ну, даешь ты, Миколка!..» О ранней весне обычно говорят в народе, что она ничего не стоит. А вот к человеку это, пожалуй, не применимо.

— И чем же он рисовал? — полюбопытствовал я.

— С передачами нанесли: кто цветных карандашей, кто кисточек, красок. Он попросил, а мы наказали родным да знакомым. Но лучше бы не наказывали. Нам тогда и в головы не стукнуло, что это может обернуться непоправимой бедой.

В начале августа город задышал, как вулкан. Взрыв рабочего пнева вылился попервости в забастовку, затем — в политическую стачку. Земелька под белогвардейцами заколыхалась. Мы тоже заговорили круче — потребовали больше свободы и сносных харчишек. Не отстал от всех и Николай. Он нарисовал на стене огромный земной шар и поверху — красный флаг со словами: «Да здравствует мировая пролетарская революция!» Получился хороший боевой плакат.

Это как-то по-праздничному высветлило обшарпанную, неуютную камеру-казарму и, главное, наши сердца. А тюремщиков — будто ошпарило кипятком. Дежурный офицер забыл и про вечернюю поверку. «Немедленно уничтожьте мазню! — зарычал он, густо-прегусто багровея. — А кто намалевал — ко мне!». Но ни один из нас не шелохнулся. Все стояли так, точно над нами полыхало всамделишное знамя. Офицер живо отрезвел и ограничился тем, что отослал охранников за швабрами и водой. Они смывали рисунок долго, старательно, а похабщина, которой солдаты еще до нас лихо разукрасили стены, осталась нетронутой. «Тут зловредности нету! — махнули они руками. — Дело житейское...»

Утром рисунок появился сызнова, но уже с добавкой: «Смерть буржуям, меньшевикам, эсерам!» И опять перекошенные, как от судороги, лица тюремщиков, наше упругое молчание, швабры и ведра с водой. И так повторялось три или четыре дня. Николай работал без устали — спал урывками, ел второпях, и все в нем, кажется, так и горело и пело. Но засечь его не могли: дверь-то без дырки, а на страже — мы. Сделать же обыск никто почему-то не смекнул. В мозгах заклинило, что ли?

И вдруг — крутой, неожиданный для тюремщиков поворот. Мы попросили швабры, чтобы стереть «художества» солдат. «Образумились наконец-то! — буркнул офицер. — Давно бы так». И он охотно удовлетворил эту просьбу, не почувствовав ни малейшего подвоха. А задумка была далеко не мирной, хотя поначалу мы тоже толком не ведали, к чему здесь клонит неугомный Николай. «Увидите потом», — говорил он, загадочно улыбаясь. Лицо его в эти минуты светилось ясным, сосредоточенным внутренним светом.

И чем, полагаете, порадовал нас? Нарисовал на чистой стене самого Ильича. По памяти, ни с чего не копируя. Не совсем, правда, точно, но основное ухватил, как с натуры. Ленинские портреты были в ту пору ред-

костью, и мы, естественно, подивились: «Как ты сумел?» — «А в газетке видел однажды», — ответил Николай. Понимаете — однажды! Вот это зоркость! Я, к примеру, уже тысячи раз глядел на портреты Ленина, почти ежегодно бываю в Мавзолее, запомнил чуть ли не каждую черточку, а заставь изобразить — не смогу! Да и не стану. Разве можно исказить образ этого человека?

Под портретом Николай крупно вывел: «Ленин — всему голова». Вроде бы немножко странно звучит, но ежели вникнуть — очень емко и правильно. Николай пояснил, что слышал эти слова от старого питерского рабочего. Что ж, рабочий не скажет такое попусту...

Утром к нам пожаловали высокие особы — управляющий уездом эсер Поплавский, комендант города полковник Степанов и так называемый комиссар по труду меньшевик Дорон-Михайленко. Их сопровождал тюремный начальник. Каким ветром занесло эту гоп-компанию, мы так и не узнали: им все перепутал портрет Ильича. С минуту они обалдело молчали, будто попергнулись чем-то. В глазах — ненависть, ярость, страх. Нижняя челюсть у начальника отвисла и, как у лихорадочного, мелко-мелко дрожала. Еще бы! Тут такие персоны, а в учреждении, вверенном ему, черт знает что...

Первым стряхнул оцепенение Поплавский. Теребя рыжеватую, острым клинышком бородку и обнажая кривой ухмылкой золотой частокोल во рту, он выдал в сторону спутников: «Это добрый знак, господа, что портрет Ульянова за решеткой. Будем надеяться, скоро и оригинал последует за ним». Звякнув шпорами, полковник подхватил: «Об этом непременно позаботятся наши доблестные генералы!» Начальник же почтительно брякнул что-то примерно такое: «Да, да, господа, это знамение. Благодать, что явилось». Поплавский окатил его взглядом, пропитанным раздражением и брезгливостью.

После этого они поспешно вынырнули из камеры, а мы долго потешались над оплошавшим начальником: «Достанется дураку на орехи!» Но в то же время чувствовали, что и нас не объедут задворками. Так и случилось.

Поздно вечером ввалился главный тюремщик с офицерами и дюжиной охранников. Он уже основательно клюнул и успел, как говорится, влезть в привычную шкуру жандармского служаки. Почти не разлепляя мясистых, лоснившихся губ, он выцедил злобно и коротко: «А ну-ка, ульяновский богомаз, на выход!»

Николая — на расстрел? Мы незаметно оттерли его боками да локтями назад, шепнули: «Язык не высовывай». Видя, что никто не выходит, начальник тюрьмы предупредил: «Три минуты — иначе вполне приказ по-другому». Он достал из кармана массивные серебряные часы и, щелкнув крышкой, воткнул белесые глаза в циферблат. В наступившей тишине щелчок показался выстрелом.

Я зачем-то начал отсчитывать про себя секунды, но так медленно, словно верил, что могу растягивать время, как податливую резину. Но такое бывает лишь в сказках. Я не добрался и до сотни, а три минуты уже испарились. Начальник захлопнул крышку и, вздернув голову, уставился на нас. Ничего не дождавись, он приказал отобрать наугад троих — по одному с сотни заключенных: «Ежели через полчаса виновник не объявится, заложников расстреляем».

В тройку попал и я.

Когда нас уже повели в коридор, на середину камеры выбежал Николай. «Стойте! — крикнул он голосом, будто отлитым из самого звонкого-презвонкого металла. — Это я рисовал. Я!» Начальник прищурился и, смерив его взглядом с головы до ног, бросил презрительно: «Сопляк, а туда же!» Николай вспыхнул как порох: «А я докажу!» Выхватив из кармана карандаш, пружинисто подскочил к стене и стал быстро-быстро наносить штрих за штрихом.

И вот уже со стены на нас смотрело одутловатое лицо с отвалившейся челюстью и бородавкой на щеке. Этим Николай как бы утвердил приговор: начальник узнал себя. «Ну и харя!» — услышал я, как молодой охранник, стоявший подле меня, шепнул на ухо другому, бородатому. Им было смешно, а вот нам-то какво? Мы до произвольной боли в сердцах жалели, что еще не готовы к восстанию. Правда, многие порывались немедленно наброситься на тюремщиков, но старшие удержали: «Себя и дело загубишь». И еще я очень и очень жалел, что лишен начисто чудесного дара: обязательно доказал бы, что это я рисовал портрет Ильича и плакаты.

— И его, конечно, увели? — спросил я нетерпеливо.

— А что им до таланта какого-то оборванца? — ответил Семен Михайлович. — Они и Россию могли бы поставить к стенке, исколоть ее грудь штыками. «Прощайте, товарищи! — крикнул Николай, когда его схватили и повели. — Рассчитывайтесь и за меня». Держался он хорошо — обстрелянным бойцом. Лишь чуточку побледнел, да в глазах, как солонец из земли, проступила тоска...

Был я потом партизаном, работал чекистом в Бийске и Новосибирске, и, скажу откровенно, не проходило дня, чтобы сердце не чувствовало этого страшного ожога, чтобы не вспоминался Николай, ради меня и других товарищей решившийся на такую жертву. Это здорово помогало жить и бороться. Похоже, что в нас сполна переливалась сила погибших.

А еще, признаюсь, напоминает о Николае сынишка. Мы взяли его в прошлую войну из детдома: своими-то обделила природа. Родители мальчонки неизвестны, фамилия была приклеена наугад. Но мы нарекли по своему — Виктором Поляковым. Сейчас он, как вы уже знаете, инженер и, представьте, смахивает чем-то на Николая, а порой кажется просто-напросто вылитым...

— Это понятно, — заметил я. — Черты хорошего человека — и внешние, и духовные — всегда хочется видеть в собственных детях.

— Пожалуй, верно, — согласился Семен Михайлович. — Но все это — между прочим, голубчик. Вернемся лучше к рассказу о самом Николае.

— Разве есть продолжение?

— Есть!.. Перед станцией, где я сел в это купе, попалась мне в руки здешняя газета. Глянул на последнюю страничку и обомлел: «Выставка картин Николая Безродного». И рядом с заметкой — снимок зала с людьми и картинами. Что за чертовщина! Поблазнило, что ли? Зажмурился, поморгал, опять посмотрел. Все правильно: Николай Безродный, художник. Неужто он? А выстрелы, что явственно донеслись откуда-то с Бурлинки? А слова, громко сказанные в коридоре вернувшимися с казни охранниками: «Отмалевался парнишка — упрятали в самую слякоть»? Нет, что-то не то! Может, однофамилец? Мало ли таких! Говорят, в одной лишь Москве Ивановых да Васильевых по несколько десятков тысяч. Но больно уж совпадает — Николай и Безродный. И вдобавок художник. Вот так и гадал, а самого трясло, как припадочного.

Не стерпел я — сошел на станцию. Шут с ним, решил, с курортом, припоздаю на сутки — беда не велика. А задержался почти на неделю. Так что выволочка от главврача обеспечена. Но что поделаешь? Тут, можно сказать, казенный объявился — войдет, поди, эскулап в положение...

Не стану расписывать встречу — сами понимаете, какой она выглядела: были, не скрою, и сырость на глазах у обоих, и бутылочка доброго коньяку, и разговор напролет до рассвета. Он смотрел на меня, я — на него, и оба выпали, как горох: «А ты, чертушка, все такой же!» Да он и взаправду изменился не шибко: по-прежнему худощавый, бравый, и взгляд, как полвека назад, — цепкий, живой, ненасытный. Ну, понятно, седина, морщины. Это в расчет не беру. Главное — душой не состарился.

А ведь сколько пережито! У другого такая жизнь, возможно, всю душу растолкла бы в порошок. То, что уже знаете, — раз. Фронтовые дороги Отечественной — два. Гибель двух старших сыновей под Сталинградом и Берлином — три. Утрата жены и самого младшего сынишки во время их эвакуации — четыре. «Словом, арифметика не из приятных, — сказал он в разговоре со мной. — Но это моя арифметика. По ней и жить учился, по ней и экзамен держал перед партией и народом. А как выдержал — судить, конечно, не мне, хотя и чувствую: вытянул больше чем на тройку. Во всяком случае, дорогой Сенюшка, тень на наше поколение не бросил».

Есть у него картина «Встреча». Он не выставляет ее нигде: написал для себя. И написал, заметьте, вскорости, как узнал, что война навечно разлучила с семьей. На полотне — трогательная, по-весеннему лучистая

сцена возвращения с фронта самого Николая к жене и младшему сынишке, о чем поминутно мечталось в окопах, но не сбылось наяву..

Живет он один — новой семьей обзаводиться не стал. Но живет не бирюком, не отшельником. Все дни таскал меня без продыху по друзьям, по знакомым, а раз даже, одевшись в парадный офицерский мундир, густо украшенный орденами и медалями, уволок в детдом, которому недавно подарил собственную картину. И уволок неспроста. Едва мы пришли, директорша сгрудила ребятишек, торжественно объявила: «Сейчас перед вами выступит старый сибирский партизан и чекист Семен Михайлович Поляков».

Вот тебе на! Поглядел я на друга с укором, а он передернул плечами да хитровато улыбнулся. Ну, думаю, ладно, я тоже подстрою шгукенцию, в долгу не останусь. И выложил о самом Николае: как в камере рисовал портрет Ленина и плакаты, как на расстрел уводили. «А вы, дедушка ху-дожник, почему об этом не сами?» — спросила детвора, глядя на Безродного с таким неподдельным восхищением и так жадно, будто впервые уви-дела. «Дожидался вот этого дяди, — отшутился Николай. — Он рассказы-вает интересней меня».

И тут я напомнил Семену Михайловичу, что и мне хотелось бы услы-шать, как удалось Николаю избежать расстрела.

— А то и спасло, за что на смерть обрекали, — ответил он.

— Неужели рисунок?..

Невероятно, но так. Вывели его из тюрьмы два охранника, которые стояли тогда возле меня: бородач да молоденький — оба продубленные, обожженные, как печные корчажки. Город уже заливала густая, как деготь, темень. Небо нудно сочилось моросью, иногда вздыхал ветерок — то поры-висто, то натужно. Редкие огоньки на другом берегу Бурлинки казались грязновато-тусклыми масляными пятнами. В такую непогодь даже без ожидания казни муторно на душе.

Отыскав более пологий спуск, охранники вместе с Николаем стали пробираться к речушке. Ноги то увязали в расквашенной глине, то широко расклинивались, как циркули, на осклизлых камнях. «И дернул тебя ле-шак! — заворчал на Николая бородач. — Тебе-то таперича наплевать — лежи да полеживай, а нам еще ямку копать да шлепать в обратную. Лучше бы чикнуть во дворе — опосля зарыли бы посуху. Да только наш началь-ник никак не согласный. Бык — он бугай и есть». А другой, помоложе, добавил: «Шибко ты нашего мордovorота слепил. На самого чертяку по-хож, токмо рожки бы, рожки!» И, немного помолчав, спросил: «А с нас тоже можешь? С любого?» Николай глухо отозвался: «Запросто, конечно, но теперь не успеть». Бородач шумно вздохнул и, покряхтев, сказал хрип-ловато: «Востер ты, паря! А, почитай, сосунок еще...»

Затем состоялся примерно такой разговор: «А энтот, лобастый, с улы-бочкой, Ленин, што ли?» — «Ленин». — «Ты его с патрета али как?» —

«Нет, по памяти». — «Нешто видал живого?» — «Видел, когда беспризорничал». — «Врешь, поди, паря?» — «С чего врать-то? В Питере повстречались однажды». — «Ну и как он, добёр или строг?» — «К бедным даже добёр. Записку на хлеб написал, рублишек своих дал на портки. Говорит, заработай — отдашь». — «О мужиках, часом, не сказывал?» — «На митинге докладывал. Всю жисть, говорит, положу, а мужикам землю и счастье раздобуду». — «Чудно, паря! От как чудно! А господа офицеры брешут, будто он Расею немчуре запродали и самого его подкупили...»

У Бурлилки — она в ту пору тоже была мелковатой, узенькой, но говорливой — все трое остановились. Охранники о чем-то перешепнулись — и к Николаю. «Амба!» — вздохнул он коротко, но глубоко и, как положено, скрепился напоследок рывком души, слизнул с верхней губы дождевую водицу и зачем-то посмотрел вверх, словно хотел увидеть луну или звезды, но на небе не было ничего — все занавесило сплошной черная туча. Они развязали руки, повернули его лицом к себе, и он услышал будто сквозь сон: «Счастье, паря, что офицера нету. Лупи-ка отседова да вдругорядь не суйся в эту коробку, не то и нас под корешки подробишь. А для отводу пальнем вдогонку. Чуешь?» И когда Николай уже перемахнул речушку, бородач кинул вслед: «Должок-от, паря, возверни человеку. Он и сам, поди, в нужде временами...»

Насчет встречи с Ильичем Николай, конечно, придумал. Но парня нельзя не понять: в такую тяжкую минуту хотелось быть как-то поближе к Ленину. Понятен и поступок охранников. Холку-то, видно, натерло, до печенок обрыдли этим мужикам и война, и мордобитье, и поруха в убогих родных деревушках...

— Вы так обсказали, Семен Михайлович, будто вас самих уводили на расстрел.

— Это не только со слов Николая, — пояснил Поляков, — но и с картины. Есть у него и такая... Вот, пожалуй, и все...

Он замолчал и задумался. А я вдруг явственно услышал, как все вокруг заполнилось мерным постукиваньем колес на рельсовых стыках, и впервые с начала разговора почувствовал качку вагона на стрелках.

На курорте мы были неразлучны: жили в одной палате, ели за одним столом, заводили одних и тех же знакомых. А перезнакомились со многими. Семен Михайлович как-то легко и свободно сблизился с людьми, находил в каждом что-нибудь такое, что оставляло след в памяти и в душе. В общем, все мои планы тихого безмятежного отдыха были опрокинуты вверх дном. Но я не сокрушался: так-то гораздо лучше. Я почувствовал себя как будто обновленным, освеженным, словно после духоты и зноя припал к чистому прохладному роднику. И все, что заставляло меня искать уединения, показалось после этого знакомства и на фоне этой истории слишком незначительным, мелким, стусевалось и само собою исчезло...

ПОЭТ БЕССТРАШНОЙ ИСКРЕННОСТИ

ЗАМЕТКИ О БЛОКЕ-ДРАМАТУРГЕ

...Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!

А. Блок.

Время конца XIX — начала XX века Александр Блок назвал эпохой «безвременья», эпохой «распахнувшихся на площадь дверей, отпылавших очагов, потухших окон». Масса идеалистических теорий прогресса, брошенная в эти годы в мир, нудные и холодные рае на земле вызывают в сознании поэта прямое недоверие к разуму вообще. «А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, людей вешают,— напоминает он «многодумным философам», — а в стране — реакция, а в России — жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти нововременцы, новопутейцы в лоск исхудали от собственных исканий, никому на свете, кроме «утонченных натур», не нужных, — ничего в России не убавилось бы и не прибавилось!»

Это было написано в конце 1907 года. А два—три месяца спустя начинает работу над своей знаменитой книгой «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленин. Совпадение, на первый взгляд, случайное и ни о чем не говорящее. Что могло быть общего между гениальным философом-революционером и избегавшим всякой политики поэтом-символистом? Но задумаемся. Нет ли в этом сопоставлении чего-нибудь такого, что по-разному и с разных точек зрения характеризует какую-то общую черту интеллектуального облика эпохи?

«В настоящих заметках», — писал В. И. Ленин в предисловии к своей книге, — я поставил себе задачей разыскать, на чем свихнулись люди, преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путаное и реакционное». Подход Ленина принципиально партиен и имеет одну цель: очистить марксизм от псевдомарксистских напластований. Однако вписываясь в общую картину теоретической мысли века, труд Ленина означал, как явствует из того же предисловия, разоблачение «якобы новейших учений», прикрывающихся очень привлекательными ярлыками: «современная теория», «новейшая философия», «новейший позитивизм», «философия современного естествознания».

Развитие Блока протекало в совсем иной, казалось бы, культурной среде, поставившей совершенно иные концепции и верования, но тем не менее они тоже выдавались за «лучшие явления... русской умственной жизни».

Естественно поэтому, что общественная мысль начала века представлялась в состоянии глубокого кризиса и революционному зрению крупнейшего мыслителя, и взору крупнейшего поэта.

«Гуманистический туман» буржуазного мира напоминал «новый наряд короля» из сказки Андерсена. Век обростал теориями, перегружался самыми обнадеживающими проектами, переполнялся самыми любвеобильными идеалами и идеями, а тело его, человеческое тело, было оголено и дышало язвами, унижениями, нищетой.

Тобою в мрак ночной, беззвездный
Беспечный брошен человек! —

это мог заметить не каждый. Для того чтобы это заметить, для того чтобы это сказать вслух, нужно было отвлечься на миг от слишком яркого света высоких материй и спуститься к совсем неяркой, обветшалой «ходячей истине». И Блок поступил именно так. В очень напряженной и драматической полемике с Андреем Белым он вдруг ни с того ни с сего заявил: «Я предпочитаю людей идеям».

«Отчего Ты думаешь, что я мистик? — обращается он в одном из писем к Белому. — Я не мистик, а всегда был хулиганом, я думаю. Для меня и место-то, может быть, совсем не с Тобой, Провидцем и знающим пути, а с Горьким, который ничего не знает, или с декадентами, которые тоже ничего не знают».

Понятно, что Блок иронизирует, быть может, кощунствует даже. Но все это из-за жадного стремления вернуться к простой реальности, которую так упрямо не замечали окружающие его культурные люди. «Им нипочем, что столько нищих, что земля кругла», — пометает он в записной книжке в апреле 1907 года.

«Земля кругла» — вот она самая банальная, самая «ходячая истина!» Очевидно, так же произнес бы эту фразу тот самый мальчик, который некогда назвал голого короля голым. Трудно сказать, насколько именно эта сказка повлияла на сам механизм блоковского мышления, насколько именно она обострила гражданское чувство поэта, зато абсолютно точно известно, что одно время он буквально жил книгами великого датского сказочника и в январе 1907 года в письме к матери сообщал: «Я давно уже не читаю ничего, кроме него, и это очень успокоительно».

Как бы там ни было, а образ андерсеновского мальчика стал постоянным спутником поэта. В одну из встреч с Горьким Блок сказал ему: «Уже в «Городке Окурове» заметно, что вас волнуют «детские вопросы» — самые глубокие и страшные!» А в статье «Памяти Леонида Андреева» он писал о том, что лучшие произведения писателя — это те, в которых поставлен «нелепый, досадный вопрос, который предлагают дети». «Что ни скажешь ребенку, — рассуждает Блок, — он спрашивает: «Зачем?» Взрослые на этот вопрос ничего не в состоянии ответить; но они также не в состоянии признаться в том, что они не могут ответить на этот вопрос. Просто — «глупый вопрос», «детский вопрос»; вот то, что мне лично кажется самым драгоценным в Л. Андрееве; он всегда задавал этот вопрос и был трижды прав, задавая его, потому что вот сейчас этот самый вопрос задает цивилизации великое дитя — Россия, а ответить на него так, чтобы за ним не последовало опять второе, полуравнодушное, полукапризное «Зачем?», — никто не может».

Можно по-разному относиться к Л. Андрееву, но заметить, что не столько он, сколько сам Блок задавал всегда этот «нелепый, досадный» детский вопрос, и что в приведенной оценке скрывается потрясающее самопризнание поэта, не стоит большого труда. И образ России — «великого дитя» появляется под пером Блока не случайно, потому что революционная Россия — это, по Блоку, пробужденная к жизни, по-детски наивная, «варварская» масса, на протяжении веков находящаяся под гнетом цивилизации. И сейчас, в условиях империалистической блокады и интервенции, самый «страшный» и самый «детский» вопрос — выживет ли это в муках рожденное дитя? Его-то и задает Россия культурной Европе. Судя по стихотворению «Скифы», это и для Европы — вопрос жизни и смерти.

В самый разгар революционных событий 1917 года, называя детьми весь русский пролетариат, Блок в письме к своей жене писал: «...содержанием всей жизни стано-

вится всемирная революция, во главе которой стоит Россия. Мы так молоды, что в несколько месяцев можем совершенно поправиться от 300-летней болезни».

Подобных примеров не счесть. На всех этапах очень трудной, подчас трагической эволюции поэта ему присуще было вот это стремление взглянуть на вещи как бы впервые, глазами ребенка. Сначала этот чистый, детский взгляд на мир играл роль своеобразного «лоплавка» в море различных умозрительных концепций мистического и религиозно-утопического плана, роль недремлющего колокола, чутко реагирующего на то, «чтобы распутица ночная от родины не увела». Затем он становится нравственным мериллом подлинности того или иного явления и, как это ни парадоксально, сложнейшим инструментом художественного познания. Здесь-то и возникает очаровательная в своей непостижимости и в то же время так по-человечески открытая для всех тайна Блока. Как эта детская, наивная мера мира не только уберегла поэта от неминуемой в этом случае инфантильности, от все время подстерегавшей его лирической замкнутости, а напротив, обусловила для него выход к самым сложным и глубоко противоречивым аспектам действительности?

Наиболее полный ответ на этот вопрос дает опыт Блока-драматурга, который и начался, собственно, с того, что в один прекрасный день поэту вздумалось всю пеструю многоликую карусель мира пропустить через игрушечный ящик сцены и показать детям:

Вот открыт балаганчик
Для веселых и славных детей,
Смотрят девочка и мальчик
На дам, королей и чертей.
И звучит эта адская музыка,
Завывает унылый смычок.
Страшный черт ухватил карапузика,
И стекает клюквенный сок.

Это еще стихотворение и уже немного драматургия. В нем выделены действующие лица (Мальчик и Девочка), их диалог. Оно называется «Балаганчик» и написано в июле 1905 года. Поэт рассказывает о веселом как будто кукольном представлении, с каламбуром, королевской свитой, с палцем, на потеху зрителей истекающим «клюквенным соком». Но заканчивается оно неожиданно серьезно и до боли грустно:

Заплакали девочка и мальчик,
И закрылся веселый балаганчик.

Спустя некоторое время Блок заметит: «Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая за ним». Однако эту боль «за смехом» способны услышать только дети. У взрослых же почему-то все наоборот. «Я знаю людей, — пишет Блок, — которые готовы задохнуться от смеха, сообщая, что умирает их мать, что они погибают с голуду, что изменила невеста».

Речь идет о страшной беде, которая постигла окружающий поэта мир. Речь идет о страшном мире, в котором люди, утратив нравственные ориентиры, потеряв способность отличать смех от боли, добро от зла, растеряли самих себя. Они, по словам поэта, «стали жить странной, совсем чуждой человечеству жизнью». «Прежде думали, — пишет в эти годы Блок в статье «Безвременье», — что жизнь должна быть свободной, красивой, религиозной, творческой. Природа, искусство, литература — были на первом плане. Теперь развилась порода людей, совершенно перевернувших эти понятия и тем не менее считающихся здоровыми. Они стали суетливы и бледнолицы. У них умерли страсти — и природа стала чужда и непонятна для них. Они стали посвящать все свое время государственной службе — и перестали понимать искуст-

ва. Музы стали невыносимы для них. Они утратили понемногу, идя путями томления, сначала бога, потом мир, наконец — самих себя».

Но и это еще не все. Весь трагизм ситуации, по Блоку, заключается в том, что эту измену самим себе люди не замечают или, что еще чудовищнее, делают вид, что не замечают, считая свою жизнь «жизнью нормального человека». «Кричите им в уши, — сокрушается поэт, — трясите их за плечи, называйте им дорогое имя, — ничто не поможет». Другими словами, подлинная трагедия подменена фарсом, балаганом. Человек словно нацелил на себя маску. Как писал один из друзей поэта, духовно близкий ему Евгений Иванов, «хоть истеки душа кровью в балагане — «клюквенный сок» на потеху сменит кровь».¹

Вот приблизительно тот круг мыслей, чувствований, тревог, которые переживал поэт, когда 3 января 1906 года на одном из литературных собраний ему предложили писать пьесу, развивая мотивы стихотворения «Балаганчик». Через месяц с небольшим пьеса была написана, сохранив то же название — «Балаганчик». В ней уже не было ни короля с королевой, ни свиты, ни чертей, ни даже Мальчика с Девочкой. Формально в ней вообще мало что сохранилось от стихотворения, по сути же главное: испытание жизни натурой чистой, мечтательной, по-детски наивной и неискушенной. Это Пьеро — взрослый ребенок, вечный неудачник, традиционный герой из итальянской комедии масок. Пройдя на сцене через ряд драматических ситуаций, потеряв свою невесту Коломбину, этот смешной, не только беззусый, но вдобавок еще и безбровый простачок остается в конце один на один со зрителем:

И вот, стою я, бледен лицом,
Но вам надо мной смеяться грешно.
Что делать! Она упала ничком...
Мне очень грустно. А вам смешно?

В сущности, финал пьесы почти тот же, что и в стихотворении. Он просто перевернут, как в кривом зеркале. Там сцена смеялась, а театр плакал, здесь театр смеется, в то время как сцена плачет.² Но в обоих случаях дети остаются ни с чем, словно обманутые в чем-то безмерно дорогом и важном. Там — Мальчик и Девочка, здесь — простодушный и доверчивый Пьеро.

Вместе с тем в пьесе как бы два финала. Этот. И еще другой, вытекающий из ее символического плана. В нем образ Пьеро выполняет уже несколько иную функцию. Обнажая свою душу перед балаганом, сам попадая в систему его искаженных идеалов-перевертышей, он вовлекает в эту систему весь мир, заставляя его таким образом саморазоблачиться. Об этом за несколько дней до премьеры «Балаганчика» Блок писал режиссеру спектакля В. Э. Мейерхольду: «...всякий балаган, в том числе и мой, стремится стать тараном, пробить брешь в мертвечине: балаган обнимается, идет навстречу, открывает страшные и развратные объятия этой материи[...] материя одурачена, обессилена и покорена; в этом смысле я «принимаю мир» — весь мир, с его тупостью, костностью, мертвыми и сухими красками, для того только, чтобы надуть эту костлявую старую каргу и омолодить ее: в объятиях шута и балаганчика старый мир похорошеет, станет молодым, и глаза его станут прозрачными, без дна».

Как видно из этого письма, в замысел поэта входило «надуть» и старый театр («мертвечину»), приятно щекотавший сытые эмоции «здравомыслящего» обывателя, и старый мир («костлявую каргу»). Оба эти понятия, взаимоотражаясь и поддерживая друг друга, сливаются в сознании поэта в одно — в отратительный образ всемирной «паучихи», в теле которой «сидит заживо съеденный ею... человек».

¹ Е. П. Иванов. Воспоминания об Александре Блоке. — В кн.: «Блоковский сборник», Тарту, 1964, стр. 377.

² На эту деталь впервые обратила внимание московский искусствовед Т. М. Родина в готовящейся к печати книге о театре А. Блока.

В этой связи «Балаганчик» строится как театр в театре. В первом из них господствует некий Автор, представитель той самой «мертвечины», «здорового смысла», который тщится представить сюжет пьесы в виде банального любовного треугольника, будто «дело идет (! — это его выраженьице, низводящее, по Блоку, искусство к сухой канцелярщине, к протоколу) о взаимной любви двух юных душ! (Пьеро и Коломбина). Им преграждает путь третье лицо (Арлекин), но преграды наконец падают, и любящие навеки соединяются законным браком!»

Так блоковский «Балаганчик» «открывает страшные и развратные объятия этой матери», чтобы разом опрокинуть, разоблачить и ее и всю ту гнилую основу, на которой она произрастает, ибо на самом деле сюжет пьесы развивается по-иному и сводится вкратце к следующему. Пьеро ищет жизни «прекрасной, свободной и светлой». В этом поиске ему, действительно, преграждает путь «третье лицо». Но этим «третьим лицом» оказывается вся система перевернутых, «балаганных» отношений реальной жизни, превращающих людей в марионеток, пустых, говорящих кукол. Среди них: кликушествовавшие мистики — «в сюртуках и модных платьях», — помешавшиеся на разговорах о конце мира; пошлый и самоуверенный Арлекин; «реальнейший» обыватель Автор и даже сам Пьеро, раздираемый бесконечными сомнениями, назойливыми и призрачными двойниками. События разворачиваются вокруг образа Коломбины, какой-то загадочной величины, вероятно, той самой «прекрасной» жизни, которую ищет Пьеро.

Для мистиков она — Смерть с косой за плечами, которую они выкликают как «деву из дальней страны»; для Арлекина — она просто «подруга на распутьях», страстная, демоническая женщина, «колдунья»; для Автора — всего лишь одна из «юных любящих душ», которой судьба уготовила очень тепленькое и мирное гнездышко — «законный брак»; наконец, для Пьеро — это образ Вечной Женственности, образ высокой и светлой мечты, невесты. Однако сама Коломбина, превращаясь поочередно то в образ «Смерти в длинных белых пеленах... с косой на плече», то в образ красивой девушки «с тихой улыбкой», то в куклу «картонную», оставляет в дураках и Мистиков, и Арлекина, и Автора, и Пьеро. В символическом подтексте пьесы это должно означать, очевидно, что все они слишком далеки от жизни, от той неизвестной и волнующей подлинности, которую несет в себе образ Коломбины, ставшей в этом «вампирическом» веке неуловимым призраком, миражем, фантомом.

Нет, не удалось Блоку омолодить «старую каргу». Слишком глубока и уничтожительна сила его отрицания — быть может, единственный положительный заряд «Балаганчика». Ничего не пощадил поэт. Наделив Пьеро рядом автобиографических черт, он и свои личные недавние увлечения довел до грустной автопародии и совсем не прикрытого гротеска. В этом одна из особенностей романтической сатиры Блока, и, видимо, потому Горький с полным основанием назвал его «человеком бесстрашной искренности». Точнее не назовешь! Немногим более, чем через полгода, уже во второй его пьесе «Король на площади», идея омолодить «старый мир», воплощенный на этот раз в фигуре Короля — каменного истукана, станет объектом беспощадной иронии:

Знаю великую книгу о светлой стране,
Где прекрасная дева взошла
На смертное ложе царя
И юность вдохнула в дряхлое сердце!
.....
Сказку мою я должна воплотить.

Но воплотить сказку (теперь уже просто сказку!) не удастся. Массивный трон гигантского Короля с древними кудрями и лицом, «изборожденным глубокими морщинами», рушится, а под грудой обломков погибают и мыкающийся по свету Поэт, и его возлюбленная, отрешенная от жизни «красавица в черных шелках», возмечтавшие

оживить Короля, «юность вдохнуть» в него. Ведь Король неоживляем. Он — камень. Это все та же «ходячая истина»: король гол, земля кругла...

В октябре 1906 года, сообщая о «Короле на площади», Блок в письме к Брюсову писал: «...летом, когда я обдумывал план, я переживал сильное внутреннее «возмущение». Вероятно, революция дохнула в меня и что-то раздробила внутри души, так что разлетелись кругом неровные осколки...»

Судя по этим сдержанным строчкам, понимаешь, чего стоили Блоку его прозрения, то, что сейчас для нас яснее ясного. «Король на площади» явился для него первым серьезным выходом из «лирической уединенности», это была его первая попытка социальную многоголосицу улицы прямо и тождественно перенести на художественное полотно, что во многом предвосхитило поэтическую структуру поэмы «Двенадцать».

Центральный сюжетный нерв «Короля на площади» напряжен, как натянутая струна, готовая в каждый момент оборваться. Одни «умирают от голода», другие приносят «сытые речи», третьи предаются «безумным надеждам», четвертые деляют «высокую мечту», и над всем этим висит проклятие смерти, любви, отчаяния, жажда «домашнего очага» и жажда «разрушения». Кажется, что сломалась очень важная деталь, регулирующая мерное вращение мира, и он сорвался в ропоте и стоне, летя с головокружительной быстротой, напоминая «бешеный» бег гоголевской тройки. Этот стремительный водоворот страстей подчинил себе всех. Спокоен лишь один. Зодчий. Его поведение в драме исполнено достоинства и мудрой уверенности в себе. Он ни в чем не сомневается, потому что, по его словам, он выше «гносавых голосов» толпы, чужд им. Его слог высокомерен и велеречив. Разумность мироздания для него несомненна. Холодная мудрость Зодчего направлена на то, чтобы уберечь статую Короля от заговорщиков, от безумной голодной толпы, потому что это — детище его таланта, плод его творческой фантазии, дело всей жизни.

Сталкивая эти две могучие стихии: безумия и мудрости, революции и «стояния на страже», — Блок оказывается перед социально-этическими противоречиями бездонной глубины, когда поистине

И, как дети, играя с огнем,
Обжигаем себя и других.

Где граница между мудростью — разумным созиданием и мудростью — тоскливой пошлостью, между безумием как революционным отрицанием и безумием как голым разрушением во имя разрушения? Ведь малейшее успокоение на точке гармонии чревато обывательщиной, а чрезмерное увлечение разрушением — бездной. Какие силы формируют человека? Где та безусловная нравственная опора, на которую он бы мог прочно опереться? Ведь бунтующая личность, страдая и сгорая, стремится к гармонии, хотя и понимает, что это приведет ее к вырождению, к застою, к утрате своей человеческой полноценности, так как в условиях гармонии личность обречена на бездеятельность, на праздную сытость. Дисгармония же приносит страдания, но она же дает ничем не заменимое ощущение полноты жизни, естественное для человека состояние движения, развития, борьбы...

«Разве можно описать всю эту сложность?» — восклицает Блок в Предисловии к своим лирическим драмам и тут же совершенно открыто, с присущей ему прямотой заявляет: «Никаких идейных, моральных и иных выводов я здесь не делаю». Это искреннее признание поэта дало одному критику повод написать буквально следующее: «Блок откровенно говорит о том, что его драмы никуда не зовут и ничему не учат»¹. Странно, не правда ли? В том же Предисловии Блок отметил: «Мне кажется, здесь я нашел себе некоторое выражение дух современности, то горнило падений и противо-

¹ И. Дукор. Проблемы драматургии символизма. — В кн.: «Литературное наследство». Т. 27—28. М., 1937, стр. 156.

речей, сквозь которое душа современного человека идет к своему обновлению».

Да, Блок, действительно, не всегда делал выводы в лирических драмах. Он больше задавал вопросы: себе, своему литературному окружению, миру. Детские, нелепые, досадные. И звал. Звал человека к обновлению. И учил его задавать вопросы...

Вот и в «Незнакомке» — третьей пьесе Блока, составившей вместе с «Балаганчиком» и «Королем на площади» сборник «Лирических драм», — поставлен такой же нелепый вопрос: «А возможен ли вообще синтез жизни и идеала?» Точного ответа, вывода нет, но драма так построена, что и отмахнуться от него невозможно.

Главному герою драмы — Поэту, — быющемуся над тайнами человеческого бытия, пригрелась такая ситуация: на землю упала звезда и превратилась в прекрасную женщину. Всю жизнь Она была для него недостижимой мечтой, непостижимой Незнакомкой, идеалом, которым он жил, к которому бесконечно стремился. И вот свершилось: Незнакомка на земле, среди людей. Казалось бы, все проблемы решены. Но нет. Она была Незнакомкой лишь там, на небе, пока была звездой, недостижимым идеалом, пока стремились к Ней. А как только стала «знакомкой» (жизнью), перестала быть Незнакомкой (идеалом).

Люди и не заметили Ее как идеал, и не потому, что они были не готовы к этому, как пишут некоторые исследователи (хотя и этот аспект драмы не исключен и весьма значителен для Блока), а просто потому, что воплощенный идеал воспринимается людьми как обычное, рядовое явление. Именно так случилось и с Незнакомкой. Для Звездочета Она — падшая звезда, для пошляка — падшая женщина, а для светской дамы — Мэри (вместо Марии).

И лишь Поэт, находящийся, как позже выразится Блок, «в неистинном мистическом похмелье», продолжает даже при встрече считать Ее Незнакомкой, какой-то отвлеченной, идеальной субстанцией. За это Она дважды зло его наказывает: сначала — жогда уходит с Господином в котелке, затем — когда вновь возвращается на небо и становится звездой. Таков печальный финал «Незнакомки». В творческой эволюции Блока он обозначил еще один шаг на пути преодоления метафизических иллюзий. После «Незнакомки» становится все более и более ясно, что улучшить жизнь, изменить ее с помощью искусственно принесенного в нее идеала, пусть даже самого прекрасного, пустая затея, что идеал — в ней самой, в ее «противоречиях непримиримых и требовавших примирения».

Как видим, отношение Блока к драматургии гораздо шире, чем только эстетическое. Блок-драматург — это прежде всего своеобразный художник-мыслитель, который с позиции как бы неискушенного ребенка (отсюда и сказочная, «мифологическая» основа его драм), с позиции свежего, не тронутого инерцией и привычкой взгляда сталкивает между собой наиболее претенциозные теории и житейские догмы. Если в лирике Блок выступает как непревзойденный диалектик чувства, индивидуального сознания личности, то в драматургии — это в первую очередь поэт разума, художник острого диалектического мышления.

Вот почему наши заметки о становлении гражданского самосознания поэта столь тесно связаны с рассказом о Блоке-драматурге. После трилогии лирических драм им были созданы еще три пьесы: «Песня судьбы», «Роза и Крест» и «Рамзес» — все вместе они составили удивительнейшую страницу в истории нашей отечественной драматургии, до сих пор еще мало изученную и почти неизвестную широкому читателю. Именно здесь, на подмостках театра, впервые разгорелся его спор со старым миром. Спор разгорался все более, пока не превратился в настоящий пожар:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем...

Эта частушка из «Двенадцати» была подхвачена всем революционным народом, потому что в ней, как сказал однажды К. И. Чуковский, бесстрашие правды «в самом крайнем ее воплощении».

Поэма «Двенадцать» выдвинула Блока в число первых поэтов Октября. В ее «обратной перспективе» отчетливо видна вся неслучайность того, как десять лет тому назад блоковское ощущение кризиса старой культуры соприкоснулось с проблемами, волновавшими В. И. Ленина.

Возникшая на стыке лирики и драмы, новая поэма Блока представляет собой своеобразную революционную мистерию, массовое театрализованное зрелище, которое может разыгрываться на открытых площадках. Драматургический принцип Блока прослеживается в ней на всех уровнях: языковом, сюжетном, композиционном. Даже по внешним формальным признакам чуть ли не половина стихов «Двенадцати» строится как прямая речь, вовлеченная в очень напряженный драматургический диалог; по существу же — их гораздо больше. Лирический голос автора как бы распадается на много голосов, принадлежащих различным свидетелям и участникам происходящих событий. Это открыто подчеркивается и ритмической интонацией стиха, и синтаксическим строем фразы и лексикой.

Создается впечатление, будто сама «улица», вздыбленная революционной волной, многоязыко и многоголосо заговорила о том, что на ней происходит. Тут и лихой напев народной частушки, и суровые ритмы революционного марша, и призыв, и лозунг, и крик о помощи, и ироническая насмешка. Поэтический сюжет «Двенадцати» отражает в себе целостную модель мира, взятую в один из самых драматических моментов его развития. Каждое действующее в поэме лицо — это и лаконично схваченный тип, и в то же время символ, некая постоянная, как представлялось Блоку, величина, неизменно участвующая в «вечной драме жизни».

В этой связи исследователям еще предстоит разобрать вопрос о поразительном этико-психологическом сходстве двух «треугольников»: Пьеро—Коломба—Арлекин из «Балаганчика» и Петя—Катя—Ваня в «Двенадцати». Вряд ли эта коллизия только автобиографического характера. В той или иной мере она присутствует почти во всех драматургических произведениях поэта.*

Есть все основания предполагать, что замысел, воплощенный в «Двенадцати», вызревал вначале в форме пьесы, план которой поэт записывает в дневнике за день до начала работы над поэмой. Судя по записям, это должна была быть символическая драма, раскрывающая смысл Октября на материале библейского сюжета. В поэму перекочевал оттуда лишь образ Христа. Все остальные образы библейской легенды, очевидно, отпугнули поэта своей сторванностью от настроений революционного народа, ибо в эти годы он все настойчивее размышляет о необходимости подлинно демократического, народного театра, доступного широким массам.

«Театр есть могучая образовательная сила, — записывает он вскоре после создания «Двенадцати». — Театр должен воспитывать волю [...] здесь искусство соприкасается с жизнью...»

Это не просто слова. Это убеждения поэта, овладевшие всем его существом. В их живом контексте особенно понятно, что означала для Блока поэма «Двенадцать». Закончив ее, он записал: «Сегодня я — гений». Это была счастливая находка. В ней, наконец, его искусство достигло той вершины, к которой он шел долго и упорно: соединилось с самой жизнью.

* После того, как статья была написана, вышла книга А. Горелова «Гроза над соловьиным садом» («Советский писатель», Л., 1970), где этот вопрос впервые рассматривается как серьезная проблема.

СОДЕРЖАНИЕ

Речь товарища А. В. ГЕОРГИЕВА, Первого секретаря Алтайского крайкома КПСС, на XXIV съезде Коммунистической партии Советского Союза	3
Аржан АДАРОВ. В музее Ленина. Коммунары. Стихи	11
Георгий ЕГОРОВ. Разведчики	14

ЛЮДИ НАШИХ ДНЕЙ

В. КИРЯСОВ. Хлебороб Михаил Голиков	66
---	----

ДРАМАТУРГИЯ

Марк ЮДАЛЕВИЧ. Ах, эта Генка! Пьеса	77
Макар ЛЫКОВ. Художник. Рассказ	126

ЧИТАТЕЛИ, ПИСАТЕЛИ, КНИГИ

Л. ЛЕНЧИК. Поэт бесстрашной искренности	135
---	-----

АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1971, № 2

Художественный редактор В. Раменский
Технический редактор М. Сафонова
Корректоры А. Дмитриев, В. Раттасеп

Сдано в набор 18. V. 1971 г. Подписано к печати 15. VI. 1971 г.
АГ 00051. Формат 70×84/16. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л.
10,08. Уч.-изд. л. 9,67. Тираж 5000 экз. Алтайское книжное
издательство Комитета по печати при Совете Минист-
ров РСФСР — Барнаул, Ленина, 76. Заказ № 1355. Типогра-
фия № 1 Управления по печати Алтайского крайисполкома—
Барнаул, Л. Толстого, 29. Цена 40 коп.



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru